

# ДЕНЬ ПЕРВЫЙ-

СЕРГЕЙ  
ЦУКАСОВ

# ПОСЛЕДНИЙ ПЕНО

ПАМЯТЬ  
О ВОЙНЕ



**СЕРГЕЙ ЦУКАСОВ**

Д

**ДЕНЬ ПЕРВЫЙ-  
ДЕНЬ  
ПОСЛЕДНИЙ**

**ПАМЯТЬ  
О ВОЙНЕ**

**МОСКВА  
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»  
1988**

9(c)27  
Ц85

Рецензент Т. А. ГАЙДАР  
Художник Я. Е. МИРОШНИЧЕНКО

Ц  $\frac{0505030202-134}{M-105(03)88}$  11-88

ISBN5-268-00508-1

© Издательство «Советская Россия», 1988 г.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Чем старше становишься, тем яснее понимаешь: груз прожитых лет — всегда с тобой. Отодвинутое и перемолотое временем не истачивается бесследно, как прогретый утренним солнцем росный туман. Из каждого дня остается что-то (много или мало — другое дело) на жизненном стрежне — так и вырастает судьба.

Для поколения родившихся вскоре после революции главными днями, которые определили его сущность, его судьбу, стали 1418 дней Великой Отечественной войны — пожалуй, более долгих и трудных, чем вся наша остальная жизнь. Недаром пишется: опаленное поколение.

...Довелось встречаться недавно со старшими школьниками, рассказывал им о тех, с кем на войне был рядом. Спросили — не для приличия, с искренним удивлением: — Неужели до сих пор они, товарищи эти, снятся? Столько лет прошло!

Для ребят события сорокалетней давности — далекая история, впрочем такой же была в их возрасте и для нас гражданская война, а после нее минуло тогда куда меньше времени. Им еще предстоит узнать, что погибшие никогда не уходят совсем — и не только из истории: остаются вместе с нами, остаются в нас самих. Видимо, как раз поэтому так близко к сердцу воспринимается, не стираясь от многократного повторения: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Со временем острее понимаешь: беспамятство не подлежит прощению. Память о войне, о боевых товарищах — это не только часть прошлой жизни; она не отпускает, это — и наше настоящее. Но все же одолевают сомнения: стоит ли еще писать о войне, когда столько уже написано?

В книгах полководцев и историков военные годы предстают во всю широту событий, масштабности их значения. Есть, однако, и другая литература, другое видение войны: из стрелковой ячейки, смотровой щели танка, с борта самолета... Это узкое видение, эта частная правда дополняют общую картину людскими судьбами и деталями, без которых история подчас предстает холодноватой, бесстрастной для восприятия. Два разных видения войны

стоят рядом и, думается, равно необходимы, только в совокупности своей объясняя, как мы — и маршал, и солдат — стали такими, что смогли победить. Эта правда неисчерпаема, пока живо воевавшее поколение.

Мне хотелось бы показать одну из миллионов судеб на войне — песчинку во фронтовом вихре. Судьбу относительно легкую — как еще сказать, если не сгорел, не сгинул, пройдя через четыре огненных года, и судьбу, безусловно, счастливую, потому что к ней прикоснулись многие-многие настоящие люди.

Оставляя лишь просеянное временем, память всегда что-то отбрасывает, сохраняя больше доброго, чем боли, неординарного, чем рядового и обычного. Она, память, ограничена и сама по себе, в силу физических возможностей не всеохватна. И еще не полна потому, что обращение к прошлому совершенно подспудно, вопреки намерениям может вызвать стремление подправить его — извинить себя за ошибки, пригладить промахи, утвердить собственную правоту. Со скидкой на эти, в какой-то мере неизбежные слабости, тем более, что от самых первых военных лет не осталось у меня ни заметок, ни документальных материалов, расскажу сохраненное памятью о войне, пройденной «от звонка до звонка».



22 ИЮНЯ 1941-го

— **Б**оевая тревога!

Мгновение — вскочить, натянуть тельняшку и робу, прикрыть одеялом койку, метнуться к пирамиде с оружием...

Сколько их было, таких тревог, за неполный год, что мы здесь, в школе авиаспециалистов Балтфлота?! Чему-чему, а уж этому научились — подниматься резким внутренним толчком то ли от голоса команды, то ли от сигнала боцманской дудки, разом выходя из глубокого сна, и механически действовать, даже если глаза еще закрыты.

Прошло минуты две, не больше, и строй курсантов, поначалу сонно колеблющийся, будто на слабом ветру, уже набирает строгую силу равнения. Смотрю на ротного, у старшего лейтенанта почему-то нет привычного для таких авралов секундомера в руках. Странно — почему? Мысль, не найдя ответа, летит дальше: «Опять ученис.

Как же так, ведь сегодня воскресенье, день спартакиады в школе?»

Совсем светло, в такие «белые ночи» на Балтике закат почти сходится с новой зарей, а тут самый пик летнего солнцеворота — 22 июня!

Команда — повернуться кругом, лицом к окнам, протянувшись вдоль всего коридора нашей казармы на четвертом этаже. К домам школы привычно подступает лес, за ним — Ораниенбаум, море и недалекий Кронштадт. Зимой — тогда шли большие учения — мы по замерзшему заливу, в снегах, ползли к нему, чтобы взять крепость штурмом, и, помню, небо над Кронштадтом тоже было пронзительно светлым: отражало снежную белизну залива, как сейчас — предчувствие близкого солнца?..

Повернувшись, мы увидели в светлом, торжественно-прозрачном небе непонятные проблески и дымки. Это наши отбивали воздушный налет — немцы сбрасывали мины на кронштадтский фарватер, это была война, о чем мы, разумеется, еще не знали. Но большинство почувствовало в ту минуту тревожность происходящего: шеренги снова заколебались, зашелестели тихими, приглушенными головами. И как бы в тон общему недоумению прозвучала совсем не по-уставному новая команда:

— Всем вниз, бегом и немедленно!

Часы показывали пятый час утра.

Много-много раз уже хожено было по этой лестнице, и бегать по ней случалось, конечно, — служба есть служба. Но сейчас спуск показался необычно долгим, хотя строй прямо-таки летел вниз: хотелось быстрее очутиться снаружи, понять, что происходит. Молодой военный городок нашей 2-й ОШМАС — Объединенной школы младших авиационных специалистов — располагался в лесу, километрах в пяти от Ораниенбаума (теперь это г. Ломоносов). Невелик школьный городок: всего пять кирпичных домов — жилой и учебный корпус, штабное здание с клубом, столовая, склады да еще два вытопанных плаца для строевых занятий и плохонькая гимнастическая площадка. Теперь, спустившись, курсантский строй быстро двинулся мимо них, но не к входным воротам, а в «тыл», где щетинился колючей проволокой открытый впервые на нашей памяти запасной выход — прямо в лес.

Здесь, когда остановились на лесной поляне под зелеными кронами, мы услышали это грозное слово — «война», и, хотя оно прозвучало лишь предположительно: «Не исключено, что это — война», мы сразу почувствовали

жесткую черту несовместимости между вчерашним и сегодняшним, привычным и небывалым.

Опасались налета немецкой авиации — почему бы, в самом деле, и не на нашу школу? И первый приказ о военном «действии» был таким: рыть землянки в лесу, для начала по одной на каждый взвод. Лопат, однако, почти не оказалось, что сразу же дало повод убедиться: на войне как на войне — всегда чего-нибудь не хватает. Но, сменяясь, работали жарко — голые спины заблестели от пота, и когда часа через два подвезли еще немного лопат, наш взвод топтался уже в большой яме глубиной по пояс. Теперь дело пошло веселее, общее настроение явно поднялось. Даже сами собой стихли разговоры о завтраке, обычное время которого минуло. Объявили, что его доставят прямо сюда, в лес, и надо только немного подождать: собирают походные бачки, их тоже мало нашлось.

Дождались ли тогда завтрака остальные, сказать не могу, а для нас неожиданно прозвучала команда:

— Третий взвод, срочно привести себя в порядок! Получить патроны и с оружием — на построение!

Вряд ли кто-либо в ту минуту предполагал, что мы уже не вернемся в этот лагерь с почти выкопанной своими руками землянкой. На территории школы взвод ждали два грузовика, и ротный, встречавший нас у головной машины, сообщил, почему-то понизив возбужденный голос до шепота:

— Выезжаем на боевое задание!

Ехали, наверное, не более получаса и остановились у кромки другого леса. Солнце поднялось уже высоко, от нагретой земли шел пряный запах сухой хвои и травы — ласково-манящий дух летнего дня. Что в этом спокойном безлюдье может быть связано с войной?

— Утром где-то здесь опустились парашютисты, — уже более спокойно, но по-прежнему шепотом, словно нас подслушивали, объяснил командир, — будем прочесывать лес. Всем держать ухо востро! Интервал в цепи не более десяти шагов. Оружие — наготове...

Говорят, у страха глаза велики. В прямом понимании страха, пожалуй, не было: каждый видел рядом товарищей, сжимал в руках винтовку. Однако неискушенность в таком — настоящем, а не учебном военном деле, все впечатления этого странно сложившегося утра, конечно же, взвинчивали. Душа напрягалась, готовая к удару, и за кустами, деревьями все время представлялось какое-то движение, виделись затаившиеся люди, направленные в тебя стволы.



Прочесав сравнительно небольшой лесок вдоль и поперек, мы действительно обнаружили два парашюта — один висел с обрезанными стропами на ветвях, другой был закопан на скорую руку, вернее — присыпан землей и прелыми листьями. Что же касается самих парашютистов, то от рассветной поры прошло уже столько времени, известие о них явно опоздало, и теперь ищи ветра в поле...

Искать, однако, пришлось не в поле — покормив всухомятку, первый раз за день, нас повезли прямо в Ораниенбаум; естественно было предположить, что именно здесь скорее всего могут появиться те, кому в первое утро войны понадобилось прыгать в этот район с неба.

...Тихий «Рамбов», как переименовывал его имя курсантский лексикон, вроде не изменился. По этим самым улицам мы ходили в нечастые дни воскресных увольнений, чувствуя себя в ином мире, полном смутного ожидания чего-то необычайно важного в восемнадцать лет — новых знакомств, встреч, смутного желания любви. Сейчас все это ушло, хотя тут вроде бы спокойно, по-старому: редкие прохожие, солнце ласково просвечивает свежую зелень парка, басовито перекликаются гудки над заливом. Но мы сами, перейдя через грань этого утра, уже смотрим вокруг иными глазами, не несем в себе прежнего спокойствия, настороженно ждем: вот-вот эта обманчивая тишина может оборваться — выстрелом, криком или еще чем?

В Ораниенбауме с опозданием слышим подтверждение: да, это действительно война! В полдень по радио выступал Молотов...

Обходим дом за домом, останавливаем людей на улицах. Лица посуровели, многие как бы ушли в себя. Проверяем документы: «Все в порядке. Пожалуйста, не обижайтесь — время военное». — «На что обижаться? Понимаем». И весь разговор, разве что в ином доме пожилая хозяйка предложит, прощаясь: «Может, перекусите, сынки, чем бог послал?» Перекусить хочется, но у нашей тройки — весь взвод сейчас разбит на такие дозорные группы — впереди еще целая слобода, и так до ночи не управиться. Надо торопиться дальше. Где же они, те парашютисты?

К последним домам, в самом конце приморской улицы, добираемся совсем вечером, хотя и по-прежнему светлым. Ноги пудовые, гудят. И прежде чем возвращаться, устраиваемся на лавочке покурить рядом со стариком в замасленной кепке. Слово за слово — пошел разговор; понятно,

о самом главном, единственно важном сегодня — о ней, о войне.

—...И верно, что взялись за проверку. Порядок на войне — считай, первейшее дело, по гражданской еще знаю,— наставлял нас старик.— Милиция вон тоже схватилась. Иду я, стало быть, обычным путем к центру, в магазин. Смотрю, на нашей-то улице, аккурат где к пристани поворот, милицейский поставлен. Никогда его тут не было, а теперь — пожалуйста. И не зря. Оттуда простор глазу — к самому Кронштадту. Выходит, для кого-то, может, первейший интерес.

— Для шпиона?

— А то нет? Вполне может быть. Не зевай!..

Посмеялся про себя над дедом: куда загнул! Уж очень карикатурно выглядело представление о шпионе на открытом месте.

Посидели еще немного, передохнули — и обратно в город, к «штабу» своему, который как раз обосновался рядом с милицией, в том же здании. Докладываем: проверили весь участок, ничего подозрительного не обнаружили. И у других групп из взвода — тоже ничего, разве что мелочь разная, вроде неоформленной прописки, но это уже по милицейской части.

Кстати, тут как раз от соседей зашли — спрашивают о нашем «улове». Только что же им рассказать? Дай, думаю, передам хоть слова похвальные того старика о милиции: всегда приятно хорошее услышать. Но едва я упомянул про новый пост, капитан милиции заметно напрягся:

— Повтори-ка еще раз подробнее.

Потом с силой хлопнул ладонью об стол:

— Вот оно!— Вскочил и резко, словно приказывая, обратился к нашему ротному:— Ну-ка, старшой, выйдем с тобой, да поскорее...

Это произошло так неожиданно, что разговоры разом смолкли. Уж не знаю, о чем подумали другие, а я вообразил, будто осадить хочет нашего командира за мою вольность — может, в насмешку восприняли похвалу, дескать, «травят» моряки не вовремя и не по чину. Насколько же наивны и далеки от простых истин войны мы были в тот первый день!

Ротный вбежал, еще от двери приказав строиться с оружием.

— Кто заметил пост милиции против пристани, шаг вперед!

Из строя никто не вышел.

— А кто там проходил сегодня? И не видел милиции?

Мы трое и еще несколько курсантов шагнули навстречу.

— Так вот, если пост действительно был, то это ложный пост. Самозванный. Милиция к нему отношения не имеет. Наше дело — проверить. Для всех — боевая готовность, а вам, — он обвел рукой стоящих впереди, — вы знаете, где это, ставлю уже сейчас конкретную задачу...

Нам было приказано идти патрулем в район перекрестка.

— Пока только это, — с нажимом на первое слово, точно предвидя возможное продолжение, добавил ротный. — Но оружие наготове, с патроном, засланным в канал ствола. При перестрелке или сигнале ракетой действуйте по обстановке, помогая основной группе. И запомните: в разговоры и объяснения ни с кем не вступать, ясно?

...Уже с полчаса, держа размеренный шаг, мы повторяем свой недолгий маршрут по трем сходящимся улицам — через «безопасный треугольник невоенного значения», как окрестил его после первого круга Слава Данев, курсант из нашей тройки. В светлой и гулкой пустоте этого вечера все будто на ладони: спешит прохожий, проскочила мимо «эмка» с красноармейцем за рулем, у берега запыхтел трудяга буксир... Мы снова спускаемся к «нашему» перекрестку и тут видим человека. Да это же милиционер! Откуда, интересно, он взялся — перспектива до самого залива была только что пуста, может, стоял у стены углового дома? Но раздумывать некогда, он нас тоже видит, идет навстречу, что-то насвистывая. Рослый, форма ладно пригнана, планшет, паган — все, как положено. Поравнявшись, улыбается, смотрит мне прямо в глаза и, подмигнув, говорит, слитно, одним духом произнося слова:

— Как, морячки, воюете?

Мы не отвечаем — помним приказ, но моя правая рука (другая придерживает ремень винтовки) произвольно поднимается над головой: привет! Тьфу, черт, глупо получилось — что-то вроде салюта «Рот-фронт», а если это и есть тот фашист? Только вряд ли. Милиционер как милиционер. Наш, конечно.

Разошлись... Сворачиваем направо, шагаем дальше. По-прежнему пусто, тихо кругом. И вдруг особенно звучно в этой тишине за спиной хлопает выстрел. Сразу же раздаются еще два или три. Мы уже повернули и бежим

туда, а над головой, рассекая белесое небо, истекает мертво-зеленым светом ракета.

...Под ногами — булыжная мостовая переулка, которым неторопливо спускались всего несколько минут назад; бежать вверх по камням во весь дух да еще с винтовкой наперевес трудно, но этого не замечаешь: сознание чего-то значительного, что с этими выстрелами вошло в жизнь, и острое чувство опасности, наверное, прибавили сил. Вот уже открывается за деревьями двухэтажный дом, стоящий чуть в глубине, — пожалуй, где-то здесь как раз и стреляли. Выскочили на открытое место, остановились, чтобы оглядеться, и сразу будто хлестнуло по камням градом — автоматная очередь. Падая, услышал справа, из-за ближайшего дерева, злой голос:

— Что рты разинули, сюда!

Под крышей дома блеснула еще очередь, опять цвыркнули по булыжнику пули, рядом коротким всхлипом оборвался крик. Почему-то отчетливо мелькнула мысль: следующая пуля — моя, и, вжавшись, как только можно, в шершавые камни, я сам начал торопливо стрелять туда, под эту крышу. Но уже, словно плотину прорвало, выстрелы раздались с разных сторон, жесткой скорописью «Та-та-та-та...» зачастил ручной пулемет, знакомец по школьному стрельбищу, наш! Значит, свой кругом. Противная скованность тела, прижатого к земле огнем, сразу прошла, и вместе с другими я побежал к дому, стреляя, что-то крича, как во сне, — смутно ощущая, что делаю. Потом на чердаке грохнуло — кто-то с противоположной стороны сумел забраться на крышу и бросить туда гранату. После взрыва все, точно по команде, стихло. На фоне неба был хорошо виден дымок, поднимавшийся из чердачного окна, словно из трубы...

Тяжело дыша в затылки друг другу, мы осторожно протиснулись по узкой и темной лестнице к чердаку. Дверь туда висела боком, сорванная с петель. Ротный выстрелил в этот косой проем из пистолета, одним прыжком оказался за порогом и почти тут же показался снова:

— Все! Готовы...

Его слова как бы подводили черту под тем, что было с нами в течение этого длинного-длинного дня. Мы еще ничего не знали, каким он был, начальный день войны, для страны. Представлялось, что сейчас, приняв первый удар на границах и отразив его, армада наших войск, танков и самолетов уже двинулась вперед или, по крайней мере, готовится к этому. Вот ведь и «свою» войну мы начали вроде бы удачно...

В сумраке чердака против окна тянулась белесая полоса света. На полу, привалившись к поперечной балке и неестественно откинув руку с планшетом, в этой полосе виднелось тело рослого человека в милицейской форме — может, того самого, которого мы встретили на улице. Дальше к срезу крыши, под самыми стропилами, сапогами в нашу сторону — как стреляли, так и остались на месте — двое...

С чердачной площадки лестницы протиснулось еще несколько курсантов.

— Товарищ командир, там из особого отдела приехали, вас требуют.

— Скажи, сейчас буду, — и к остальным, уже начавшим шуровать по углам: — Ничего не трогать, не брать. Оставить, как было. И с чердака долой. Тут без нас разберутся.

Внизу, у ближайшего к дому дерева, я сразу увидел Данева; перехватывая бинт из руки в руку, прямо по окровавленной тельняшке кто-то завязывает ему плечо. За Даневым неподвижно, отрешенно от всего лежал на спине еще курсант: ладони сложены у живота, бескозырка сдвинута к лицу, слова на ленточке «Воздушные силы КБФ» как раз закрывают глаза.

Вот тебе и «безопасный треугольник»! Значит, это Славу ранило там, на мостовой, рядом со мной. Выходит, и я мог лежать за ним уже вычеркнутый из жизни?! Нет, нет, нет!..

Перед глазами поплыл туман.

Конечно, смерть — трагическая неизбежность войны, абстрактно это понимает каждый. Но столкнуться с ней лицом к лицу, да еще впервые — совсем иное, понять и принять такое трудно. Через это нельзя сразу перешагнуть. И даже не могу точно сказать, что было тогда дальше, как закончился тот вечер и прошла ночь, которую мы скоротали в своем штабе. Остались в памяти навсегда лишь блеснувшая из-под карниза дома автоматная очередь да пульсирующая снова и снова, как острая боль, неотвязная мысль: ведь это мне, старшему, тройне надо было проявить осторожность, когда повернул патруль на выстрелы. Побежал без ума, повел открыто и глупо прямо под огонь. И вот Данев, умный и красивый, никогда не унывавший парень, аккуратист, которого старшина так часто ставил в пример, ранен, а я жив и невредим...

Если случается теперь отвечать на вопрос, когда получил на войне боевое крещение, обычно говорю, что

воевать довелось с первых недель, а про этот день стараюсь умалчивать. Как-то не вписываются события, о которых здесь рассказано, включая запоздалый поиск парашютистов и дилетантскую в общем-то схватку с переодетыми «милиционерами», в понятие «война». Особенно с высоты пройденных потом военных лет. Да и происходило все далеко от границ, от начавшихся там боев, когда даже помыслить невозможно было, что фронт может скоро придвинуться вплотную к Ораниенбауму, к стенам Ленинграда.

Словом, день 22 июня, резко отграничивший в судьбах все, что было до него, и для каждого проходивший по-своему необычно, у меня вызвал сильное душевное потрясение. В безалаберности всего прожитого тогда отразилось, наверное, не только то, что шли первые часы войны, но и особенно внутренняя неготовность к ней нас, молодых флотских курсантов, с истинной верой и без раздумий певших в строю еще накануне: «Если завтра война, если завтра в поход...»

Война пришла совсем иной.



## ТРУДНЫЕ ДНИ В БЕЗЗАБОТНОМ

**Ч**ерез несколько дней, которые мы провели в Ораниенбауме, охраняя минно-торпедный склад, взвод отозвали обратно в училище. Здесь уже многое вернулось в привычную колею. Бомбежек не было, и все снова расположились в казармах. Только распорядок курсантской жизни заметно ужесточился: 15 часов занятий ежедневно.

«Досрочный выпуск» — разговоры об этом слышались столь же часто, как о войне, впрочем, одно с другим неразрывно связывалось. Хотя о первых неудачах на фронте уже стало известно, мы еще не сомневались, что вот-вот грянет удар, который сразу сокрушит немцев: в подсознании тревожила мысль, как бы не прозевать это победоносное завершение войны, просидев в учебных классах до самой победы. И все, понятно, мечтали быстрее попасть в боевые части.

28 июня на утренней поверке командир назвал фамилии счастливиц, которым присваивались сержантские

звания и предписывалось вместо занятий привести в порядок форму, собрать вещи и приготовиться к отправке. Куда? Не все ли равно — главное, на фронт! Моя фамилия тоже была в этом небольшом списке.

— Счастливо, скоро там встретимся! — не скрывая зависти, говорили товарищи, не ведая, что война рассудит по-другому, вопреки этой логике. Оставшиеся продолжали заниматься вплоть до конца августа, когда гитлеровские войска прорвали фронт под Лугой и хлынули к Ленинграду. На Ораниенбаумском направлении в те дни не оказалось достаточно войск, чтобы прикрыть подступы к Финскому заливу, и курсанты школы пошли в бой, пошли с винтовками и гранатами против танков. Многие сложили головы в неравном бою между деревнями Дятлицы и Гостилицы — в знакомых местах, где зимой мы протапывали маршруты учебных «игр», но помогли сдержать бронированный удар, пока не подошли новые части. Ораниенбаумский «пяточок» остался, он прикрывал с юга Кронштадт вплоть до начала нашего наступления в 1944 году, однако школа перестала существовать. А мы, уехавшие в действующие полки, на фронт, так и не встретили, насколько знаю, больше никого из тех, с кем расстались тем утром...

Выпускников распределили по разным частям; пятерых в том числе и меня, назначили в полк дальних бомбардировщиков и назвали куда едем — в Беззаботное. Последний раз открылись перед нами знакомые ворота, старенькая школьная полуторка выбралась на пыльное шоссе. Впереди, через несколько часов пути, был гарнизонный поселок с идиллическим названием, в мирное время — новая база, а теперь боевой аэродром авиации Балтийского флота. Только вряд ли подходило ему так именоваться — Беззаботное. Мы слышали, разумеется, в школе о главных базах флотских бомбардировщиков: одни «сидели» в Котлах, другие в Капорье — вот это звучит, можно сказать, названия, выросшие с петровских времен в военную историю страны. А тут... Говорят, еще не отстроили этот аэродром, а назвали как совхоз рядом, да разве совместима с боевой авиацией спокойная, беззаботная жизнь?

Толки об этом в кузове машины, впрочем, быстро стихли. В пути, особенно если он ведет к переменам в судьбе, всегда хочется оглянуться назад или попытаться представить хотя бы близкое будущее. Так, наверно, было и тогда. Мои мысли снова вернулись к первому дню войны и подробностям, которые мы слышали следующим вече-



ром от своего ротного уже на минно-торпедном складе. В особом отделе сумели выяснить, что двое «милиционеров» действительно были парашютистами, заброшенными для наблюдения за движением наших кораблей в районе Кронштадта. Оба — из немцев, выросших в Латвии и, когда здесь установилась Советская власть, выехавших в Германию. Убит в перестрелке был, оказывается, лишь один из парашютистов, а второй только ранен, что и помогло распутать клубок происшедшего. Третий же — фашистский резидент — жил в Ораниенбауме под видом рабочего судоремонтного завода уже несколько лет в том самом доме, где «милиционеры» устроили свою базу; именно он хранил тайно рацию, которую взяли на чердаке.

Да, шпионы действовали открыто и нагло — шли на перекресток «дежурить», передавали друг другу «смену», выходили, надо полагать, когда требовалось, в эфир. И было в этой наглости что-то для них оправданное, а для нас — неожиданное: хоть и удалось обнаружить в лесу оба парашюта, но ведь парашюты — это не парашютисты, а на самих «милиционеров» мы наткнулись в общем-то благодаря случайности и действовали, по крайней мере я сам, без ума в голове, растерянно. Значит, понимать и предугадывать гитлеровцев надо научиться, для этого еще недостаточно отличать по силуэтам на таблицах в школьном классе марки вражеских самолетов.

...Оставив в стороне шоссе, наша полуторка ползла по ухабистой лесной дороге. А когда выбралась на неширокий простор, тотчас, как будто специально, впереди послышались глухие тяжелые удары. Высунувшись на ходу из кабины, сопровождавший нас лейтенант — старший команды, показал рукой в ту сторону и медленно, раздумчиво произнес:

— Кажется, бомбят Беззаботное...

Держась за борта, мы повскакали на ноги.

— Где это, где?

Лейтенант уже больше не сомневался:

— Стой! Воздушная тревога!

Едва мы соскочили на землю, откуда-то из-за дальнего облака, наискосок перечеркивая небо дымным шлейфом, показался самолет; он стремительно падал — падал совсем неподалеку. «Хейнкель-111», точно!

Из придорожной канавы, куда мы все ссыпались, была хорошо видна полусфера неба над стоявшей рядом машиной. Левее и выше черного султана дыма, расплывав-

шегося на месте, где упал и взорвался самолет, одиноко покачивался купол парашюта.

— Смотрите, это с «хейнкеля»!

— Один. А остальные из экипажа?

— Значит, не выпрыгнули...

Парашютиста сносило дальше от дороги. Мы снова забрались в машину, и прямо по полю, урча и переваливаясь, она двинулась туда, где опускался летчик. Левый борт оцетинился винтовками, которые лежали до того в кузове. Как хорошо, что из училища нас проводили с оружием, а еще брат не хотели винтовки, надеясь, что в части сможем получить пистолеты.

Немец приземлился спиной к нам, метрах в ста, — прямо как на учебном полигоне, педантично соблюдая инструкцию: подтянул стропы, согнул колени, мягко лег боком. Пока он отстегивал парашют и поднимался, мы рассыпались полукругом и медленно, осторожно пошли на него. Выпрямившись, летчик резко дернулся и замер — наверное, нас раньше не видел. Лейтенант — он шел с самого края — гортанно крикнул, я не разобрал, что именно, но немец понял: повернувшись, бросил пистолет через плечо и поднял руки. Он стоял, крепко упершись ногами в землю, — высокий, в комбинезоне непривычного серосиреневого цвета и летном шлеме. В треугольнике растегнутого у ворота комбинезона виднелся китель, на черном бархате лацкана — серебряный паук фашистского знака.

— Руссиш капут! — глядя на нас, спокойно и громко сказал он. И, переходя на яростный крик: — Хайль Гитлер!..

Мы даже опешили от такой дерзости.

— У, сволочь, подожди, будет тебе «капут»! — Лейтенант шагнул вперед, со злостью выбросив руку и чуть не двинув его наганом в лицо. — Еще почувствуешь русскую силу, фашистская морда!

— А ну, полегче на поворотах... Это что же здесь происходит? — неожиданно раздался сзади басистый голос. Рядом с «эмкой», подъехавшей по нашим следам, стояли морской офицер с летными нашивками капитана на рукавах кителя и два матроса с винтовками, а за ними подруливал грузовичок, откуда вылезали красноармейцы. В горячке мы их просто раньше не заметили.

— Кто такие? — грозно спросил капитан. — Документы!

— Сопровождаю в часть команду из 2-й ОШМАС,

товарищ капитан, — козырнул лейтенант. — Вот увидели парашютиста с горящего «хейнкеля», догнали. А он, гад, пропаганду здесь разводит...

Признав старшего команды, капитан успокоился. Он был из штаба нашего нового полка, а красноармейцы — из аэродромной охраны, зенитчики которой сбили «хейнкель». В Беззаботном тоже заметили парашютиста и поспешили сюда, чтобы не дать ему улизнуть.

— Так и дышит высокомерием, фашист матерый, — провозжая взглядом пленного, которого повели под конвоем, сказал капитан. — Да, спеси у них много, сбивать и сбивать.

Уж не знаю, к чему относилось это «сбивать» — к вражеским самолетам или к наглой спеси гитлеровцев, веривших в свой «блицкриг», но только он вдруг весело подмигнул и пробасил:

— Всем нам тут будет работенка и вам тоже. Слышали, в какой полк едете? В первый минно-торпедный!..

На Балтике к началу войны были известны два минно-торпедных авиационных полка — 1-й и 57-й. Но только мы о них мало тогда знали: как говорится, подробная информация была не для распространения. Летали оба полка на ДБ-3ф — флотском варианте дальнего бомбардировщика. Само название «минно-торпедный» предопределило главные цели, ради которых создавались такие части морской авиации: удары по кораблям и военно-морским базам, минирование вражеских фарватеров. И мы не сомневались, что смелые воздушные налеты на Мемель, Кенигсберг, Данциг, о которых сообщалось, — дело этих летчиков. В том числе, конечно, и 1-го авиаполка, который теперь станет нашим.

...Держась за «эмкой», проехали через военный городок: многие здания полуразрушены, их закопченные стены чернели пустыми глазницами окон. Городок был пуст: семьи авиаторов, жившие в нем до войны, эвакуировались; летчикам и техникам тоже пришлось перебраться, чтобы не оказаться под бомбами.

Остановились в лесу у небольшого хорошо замаскированного домика, вроде барака. Без долгих формальностей нас пятерых, прибывших в полк, штаб распределил по эскадрильям. Пока добрался до аэродрома и нашел вторую эскадрилью, куда меня назначили мастером по вооружению, стемнело. На опушке притихшего леса мне показали вход в блиндаж: бетонные ступеньки вели вглубь. Эти ступеньки — целых два лестничных марша — особен-

но поразили: вот устроились, точно в городском доме! Писарь принял мое направление, сделал у себя в толстой тетради пометки — и все дела.

— Ну, пойдем,— сказал он дружелюбно,— провожу в третье звено, будешь устраиваться. У нас ведь не на готовенькое. Здесь, на стоянке, не успели построить ничего, что для войны нужно.

— Кроме штабного блиндажа?

Восприняв, может быть, вопрос как подначку, писарь, хмыкнув, ответил назидательно:

— Это само собой, закон войны: без штаба что без головы. Запомни!..

Прошагав вдоль кромки леса, мы повернули к капониру среди деревьев. В углублении, окруженном земляными валами, стоял самолет, прикрытый сверху зеленой маскировочной сетью.

Впервые довелось мне увидеть в натуре и так близко ДБ-3ф — хоть и сумерки, а глаз сразу схватывает общий вид. Обтекаемый штурманский фонарь изящно поднялся меж двух моторов, легкий обвод плоскостей, как бы накапливающих к консолям стремительность, устойчиво-гордая осадка на шасси, словно бомбардировщик присел перед прыжком в воздух... Красивый самолет. Разве схемы и фотографии, по которым изучали его в школе, такую красоту способны передать? Запомнилась лишь сухая, как инструкция, характеристика: мощная, скоростная и маневренная машина, приспособленная к атаке морских целей, вооруженная тремя скорострельными пулеметами для воздушного боя, может брать две торпеды или тысячу килограммов бомб...

На левой плоскости у мотора возился человек в комбинезоне.

— К вам новичок, товарищ старший техник-лейтенант,— доложил мой провожающий.

— А, пополнение, это дело,— распрямился тот лишь на минуту, чтобы ответить.— Располагайся под любым кустом, а то ступай до палатки или землянки, пока я управлюсь.

Технический состав, рассказывал мне еще по дороге писарь, ночует здесь же, у самолетов,— кто как устроится, благо что лето. А летчики квартируют подальше, их утром привозят на аэродром.

...Чуть в глубь леса — небольшая палатка, рядом с которой открыта узкая щель. Полог палатки откинут, внутри мерцает коптилка, едва освещая лица. У одного, пос-

тарше, на голове фуражка с серебряным «крабом» — стало быть, техник. Познакомились, двое других тоже оказались из этого звена — механик и моторист. Тесно в палатке и без меня, пристроился у входа, стал слушать — они продолжали свой разговор, прерванный моим появлением. Вскоре понял: обсуждают перемены в полку, который за первую неделю войны понес изрядные потери. Только-только принял его новый командир — полковник Преображенский. Собственно, он не «новый», а «старый» — командовал 1-м минно-торпедным еще во время войны с Финляндией, потом был переведен в братский 57-й полк и вот теперь возвращен обратно. Механик, который, судя по всему, не первый год здесь служит, называет его уважительно, на гражданский манер — Евгением Николаевичем.

— Какой летчик!.. Увидите, возьмет полк в руки, всей Балтике покажет, как воевать надо. Волевой, а в обиходе — спокойный, выдержанный. Человек!.. С чего он начал, слышали? Доложите, потребовал, какие экипажи не вернулись с задания. Ну ему сообщают: мол, из последнего вылета — экипаж лейтенанта Игашова, бомбил танки в районе Двинска (теперь город называется Даугавпилс). И что же? — спрашивает. Штаб — обычное дело: обстоятельства не известны, послали наверх донесение, что пропал без вести. Евгений Николаевич тут сразу в строгость: то-то и плохо, дескать. Не должны наши люди без вести пропадать, смотреть надо лучше друг за другом в бою. И спешить с такими донесениями — заметьте, к чему подводит, — нельзя; кто за Родину погиб — тому надо честь воздать...

Много-много лет спустя довелось быть по служебным делам в Даугавпилсе, и близ поселка Науене среди расступившихся сосен мне показали скромный памятник: над постаментом вертикально в небо нацелено стальное крыло самолета. Это памятник на месте гибели экипажа Петра Игашова: после войны благодаря упорному и долголетнему поиску, который вели латвийские пионеры, удалось восстановить действительную картину того боя. На подходе к цели наш бомбардировщик атаковали три «Мессершмитта-109». Один из них был сбит, но немцам удалось поджечь машину Игашова. И тогда он направил самолет на врага. Геройски погиб, как Гастелло, про подвиг которого мы читали в те же самые дни...

А разговор в палатке продолжался.

— Это правильно, насчет «без вести пропавших», — теперь говорил техник. — Только что командир сможет из-

менить, если завтра опять пошлют полк на Двину без прикрытия? Мои вернулись вчера — весь самолет в дырах, из фюзеляжа небо видно, — и рассказывают: «мессера» там роем ходят. Так у нас скоро и машин не останется, а потом спохватятся: кого же посылать на море-то воевать?.. Впрочем, хватит лясы точить. Чуток передохнули, ну и лады, пошли к самолетам работать...

На рассвете, когда в лесу еще серела расходившаяся мгла, меня разбудил в палатке, где удалось приткнуться на ночь, старший техник:

— Вставай, сержант, войну проспишь. Берись за работу — готовить надо ПТАБы. Приходилось?

Со сна не сразу, но соображаю: ПТАБы — специальные противотанковые авиабомбы, в школе учили их снаряжать; в разъемный металлический цилиндр, словно огурцы в бочку, укладываются мелкие бомбочки — похожи на игрушечные, а пробивают даже толстую броню; сброшенный с самолета, этот цилиндр лопается, бронебойный «град» с неба поражает танки.

Укладываем, затягиваем ПТАБы — их нужно приготовить для всех трех самолетов звена, да побыстрее: уже начали опробовать моторы, и низкий ревущий гул пронизывает наш лес. Значит, опять полк полетит против танков. И куда — в общем-то фронт близко. А на ДБ до самой Германии можно долететь, там — военные базы, корабли в портах...

Об этом, оказывается, думали тогда не только юнцы, вроде меня, судившие о военных событиях понаслышке или видевшие их лишь под собственным носом. Вот что рассказывал много позже бывший тогда начальником управления ВВС Военно-Морского Флота генерал-лейтенант С. Ф. Жаворонков. Верховный Главнокомандующий, выслушав доклад одного из руководителей дальнебомбардировочной авиации, спросил:

— Как расширяется ДБ?

Генерал смешался. Конечно, не потому, что был застигнут врасплох, — он чувствовал подвох в самом вопросе.

— Ну, так как же?

— Дальний бомбардировщик, — ответил генерал.

— Именно — дальний, — Сталин сделал ударение на последнем слове. — Так используйте ДБ-3 по назначению...

Однако боевая необходимость подчас выше логики целесообразности. Когда нечем остановить врага, против него приходится бросать все, что может этому помочь. Эскадрильи нашего полка снова и снова направляли для

ударов по немецким танковым колоннам под Псковом, артиллерийским позициям у Порхова, переправам врага на Двине.

...Если бы тогда, в Беззаботном, какой-нибудь шутник сказал, что пройдет время и мне доведется разговаривать, вспоминая об этом, с самим В. Ф. Трибуцем, командовавшим в войну Балтфлотом, я бы, наверное, просто отмахнулся или рассмеялся. Мог ли простой сержант-оружейник о таком даже подумать? Но жизнь выбирает для нас свои пути, и спустя лет тридцать, когда я работал в «Правде», мне действительно посчастливилось встречаться по газетным делам с Владимиром Филипповичем.

— Как же, хорошо помню все обстоятельства того трудного лета 41-го,— говорил адмирал.— Вот и в книге, над которой сейчас работаю, об этом пишу. Положение на фронте продолжало усложняться, приходилось все больше и больше переключать флотскую авиацию для действий в интересах сухопутных войск. Командующий Северо-Западным направлением приказал временно подчинить ее командующему авиацией фронта. Этот приказ ставил флот в трудное положение — на морских направлениях небо для врага оставалось открытым. Но иного выхода не было.

По несколько раз в день с полным бомбовым грузом поднимались тяжелые морские самолеты и шли к фронту — чаще всего даже без сопровождения истребителей, их не хватало. Чтобы попасть в цель, бомбили с малых высот: танк — не корабль и не причал порта, иначе его не поразишь. И почти из каждого вылета возвращались не все.

Вот и в нашем звене к началу июля остались лишь две машины, два экипажа. Третий, с которым мне еще не привелось за первые дни познакомиться, видели последний раз на подходе к линии фронта, и никто не знал, что с ним стало. Только через неделю неожиданно появился в полку командир этого экипажа — обросший бородой, в разодранном и обгоревшем кителе, так что даже близким товарищам трудно было его узнать. Оказалось, во время атаки зенитки подбили машину, он один на борту остался в живых и чудом сумел посадить запылавший самолет на поле в тылу у немцев. До ночи прятался, а потом вышел к маленькой деревушке, постучался в крайнюю избу... Вывел летчика сын хозяйки, парнишка лет тринадцати, которого сама мать благословила на это опасное дело. Днем мальчик разведывал дорогу, добывал пропитание, а по ночам они шли, обходя села и шоссе. Удачно

миновали линию фронта, оказавшуюся подвижной, не сплошной, и попали наконец в расположение наших войск. Утром летчика отправили с передовой в свой полк, а паренек, несмотря на уговоры, исчез. «Мамка, — говорил, — осталась одна, ждет меня, проберусь...»

Подробности эти стали известны, повторяю, через неделю. А в тот день, когда экипаж не вернулся, капитан В. А. Гречишников, командир нашей эскадрильи, собрал всех, кто оказался под рукой, в пустом, словно осиротевшем, капонирие.

— Товарищи, будем мстить врагу за боевых друзей. И не только за них — за все, что творят фашисты на советской земле! Только что я вернулся из одиночного разведывательного рейда и своими глазами видел, как «мессершмитты» с бреющего полета расстреливали на дороге беженцев — женщин, стариков, детей...

На том собрании приняли самую короткую на моей памяти резолюцию: «Ни одной бомбы мимо цели!»

Боевые полеты стали недолгими — фронт приближался. На аэродроме работали с напряжением, которое, казалось, трудно выдержать: едва экипажи возвращались, надо было тут же подготовить следующий вылет — отремонтировать машины, подвесить бомбы, исправить и зарядить бортовое оружие. Для всего другого, что требует авиационная техника, оставалась недолгая летняя ночь. Круг этот не размыкался, вычерпывал силы сполна. Однако я, как и многие среди техсостава, испытывал острую неудовлетворенность: те, кто летал, сражались с врагом, не жалея жизни, и гибли, а мы, на земле, только о б е с п е ч и в а л и их боевые вылеты. Горько было чувствовать себя во «втором эшелоне» настоящей войны.

3 июля прямо под кустами на самолетной стоянке, куда принесли батарейный приемник, мы слушали обращение И. В. Сталина по радио. За треском помех жадно ловили каждое слово, прильнув головами к приемнику. Все-все отзывалось в душе: и необычное начало: «К вам обращаюсь я, друзья мои!», и полоснувшая по сердцу откровенно суровая правда о наших неудачах, потерях, и призыв бить врага беспощадно, где бы он ни был. Когда передача закончилась, никто, насколько помню, ничего не сказал, словно продолжая впитывать услышанное. Но в тот же день многие механики, мотористы, оружейники подали командиру эскадрильи рапорты о переводе в воздушные стрелки. И я в том числе. Полагал, что, кроме желанья своими руками стрелять в фашистов,



которое испытывали все, для этого имею еще основание: неплохую школьную подготовку — по воздушной стрельбе всегда получал пятерки...

Вечером на Беззаботное совершила налет большая группа немецких бомбардировщиков. Целую неделю серьезных ударов по аэродрому не было. То «юнкеры» пройдут на большой высоте куда-то в сторону Ленинграда, то одиночные самолеты с черными крестами мелькнут над лесом или «рама»<sup>1</sup> зависнет вверху, будто коршун, высматривающий добычу,— и все. А тут вывалились из поднебесья «лапти»<sup>2</sup> и, переворачиваясь один за другим на крыло, с леденящим сердце воем понеслись к земле — прямо на нашу стоянку. Вблизи было несколько щелей, я успел броситься в открытую метра на полтора ячейку и, придавленный этим воем, испытывал ощущение, что все самолеты пикируют на меня. Рядом рвануло с ужасным грохотом, вызвав стремление еще плотнее притиснуться ко дну, раствориться в ходившей толчками земле...

Никогда позже, попадая в различные передряги, я не испытывал такого животного, липкого, постыдного страха, как в те минуты, первый раз под бомбами, не переживал такого унижения страхом, заставляющего чувствовать себя бессильной малостью.

Когда разрывы стихли, с трудом заставил голову приподняться. Над аэродромом оседала дымная пелена, стреляли зенитные пулеметы, а «лапти», растянувшись над кромкой леса, заходили на второй круг, готовые опять нырять вниз. Из соседней щели, куда спрыгнули сразу трое, показывал что-то в их сторону Василий Максимович, старший техник звена. Захолодело от мысли: заметил он, конечно, заметил, что я трушу. А еще рапорт подал...

Снова загрохотало вокруг, в ячейку посыпались комья земли, меня сильно ударило по спине, и, сжавшись до боли, я успел подумать: «Ну, все, это конец...» Однако взрывы пошли дальше, через несколько минут смолкнув, так что в стороне опять стала слышна гулкая россыпь пулеметов. Тело было каким-то чужим, ватным, даже думать о том, чтобы встать, не хотелось. Со дна меня поднял резкий, наполненный тревогой голос Василия Максимовича:

<sup>1</sup> Так называли на фронте двухфюзеляжный разведчик «Фокке-Вульф».

<sup>2</sup> Пикирующий бомбардировщик Ю-87, у него не убирались шасси.

— Отходите быстрее!..

Подстегнутый этим криком, я разом выбрался на поверхность и невольно оцепенел: метрах в восьми, косо зарывшись, торчала стабилизатором вверх неразорвавшаяся бомба.

Тут была еще моя жизнь, но, может быть, уже была и моя смерть. Вот сейчас она полыхнет огнем...

В книгах о будущей войне, которые мы читали в предвоенные годы, порой изображалось, как в стане наших врагов выступают на помощь Красной Армии коммунисты, как народ в гневном порыве сметает империалистическое правительство, поднявшее меч на первое в мире рабоче-крестьянское государство. Но война шла по иному сценарию. И все же нам, выросшим в святой вере, что нет ничего сильнее интернациональной солидарности людей труда — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», — нам хотелось даже в самом малом видеть подтверждение этой своей веры. Когда падали, не разрываясь, бомба или снаряд, пожалуй, везде на фронте, особенно в те первые недели войны их воспринимали именно как «привет» от неизвестных рабочих, которые где-то в Германии вопреки гитлеровскому террору находили свой способ борьбы с фашизмом.

Может, так оно и было с этой, «моей», бомбой? Трудно сказать — очень редко не срабатывает взрыватель, но мало ли из-за чего такое случается. Во всяком случае, то не был фугас с часовым механизмом, рассчитанный на замедление взрыва, мысль о чем и заставила нас без оглядки броситься прочь. Обычная бомба солидного веса. Для всех, может быть, и обычная, но для меня... Позже, когда, оттянув из ближайшего капонира самолет и приняв все меры предосторожности, ее подрывали, бомба ухнула с такой силой и разворотила такую воронку, что стало совершенно ясно: в той щели, где я находился, живому остаться было бы просто невыносимо.

...Короткая июльская ночь несет под брезент палатки легкую прохладу, столь желанную после изнуряющего дня. Но душевное смятение от унижительного страха, испытанного при бомбежке, не отпускает, точно открытая рана, мешает заснуть. Почему именно в темноте приходят самые мрачные мысли? Как буду воевать, если на поверку оказался не стойким? Сильнее всего судит человека собственная совесть.

В палатку неожиданно заглянул Василий Максимович — узнал его по голосу:

— Не спишь еще? Ну-ну... А ты молодец, труса не праздновал под бомбежкой-то. Первый раз, знаешь, всегда страшновато — и бога, и черта помянешь. Но, смотрю, не растерялся... Ладно, пошел я, спи...

Подумалось: утешать решил, не иначе. На виду, выходит, была моя слабина.

И хорошее и плохое отходит в прошлое под влиянием заметных событий, а они не столь уж часты. Мне, можно сказать, повезло — уже дня через два или три фронтовая судьба принесла новое испытание, которое очистило совесть, внушило уверенность, что способен заставить отступить страх.

Полк получил приказ ударить по морской цели — военным объектам в порту Данциг. Под плоскостями самолетов, один за другим патужно отрывавшихся от земли, виднелись тяжелые бомбы, похожие на гондолы, — они не помещались в бомбовых отсеках и подвешивались снаружи. На сей раз маршрут был далеким, возвращения надо было ожидать не скоро. Но примерно через полчаса над летным полем неожиданно послышался знакомый гул — один ДБ шел на посадку. Едва он приземлился, сбавил скорость, отбрасывая под фюзеляж облака пыли, и остановился, летчики выскочили из машины посреди аэродрома. Осмотрелись и побежали к стоянке. Передний поднимал над головой скрещенные руки; это могло означать лишь одно: не подходить, не приближаться.

— Что за самодеятельность?! Доложите! — раздраженно приказал, едва они подбежали, худой человек в сером комбинезоне, которого я еще не знал, но по тону определил: старший начальник. Это был военинженер Г. Г. Баранов.

— Аварийный случай. Перегрелся правый мотор, — выталкивая из груди рубленые фразы, отвечал запыхавшийся командир экипажа. — Пришлось возвращаться. А после посадки увидели: взрыватель голый. Сорвало предохранитель. Заруливать нельзя...

— Да... — заметно побледнел инженер полка. — Этого нам еще не хватало...

До войны считалось: если самолет поднялся с боевыми бомбами и по каким-то причинам не сбросил их на учебном полигоне, то перед посадкой надо обязательно освободиться от бомб — для этого специально выделялись запасные участки в глухих местах. Однако война быстро перечеркнула это правило — в общем-то оказалось, что

оно рождено излишней осторожностью, свойственной мирным дням. Приходилось — и самолеты вполне благополучно приземлялись с бомбовой нагрузкой, чтобы потом снова взлететь и обрушить ее на цель, а не извести зря. Это был, наверное, первый в полку случай, когда опасность взрыва после такой посадки стала реальной.

Все сразу поняли, в чем дело. Любая бомба, как известно, снабжается взрывателем. На авиационных фугасах того времени надежным предохранителем взрывателя служил простой колпачок с лопастями, вроде вертушки для детской игры, который крепился фиксатором — проволочной вилкой. Когда бомбу сбрасывали, поток воздуха свертывал колпачок, и при ударе она взрывалась. Предохранитель на бомбе под севшим самолетом был скорее всего плохо закреплен и свинтился. Теперь лишь мембрана взрывателя, тонкая, как листок фольги, была — надолго ли? — защитой от взрыва. Даже сильный толчок мог его вызвать, а задень мембрану или попади в нее камень при рулежке — и говорить нечего.

— Да,— повторил военинженер,— дела...— И, окинув нас, стоявших рядом, цепким взглядом, коротко бросил: — Кто пойдет?

В лицо мне словно вонзились горячие иглы: среди всех здесь вроде бы я один был вооруженцем, и казалось, остальные смотрят на меня.

— Разрешите? — получилось это безоглядно, само собой.

Инженер повернулся к Василию Максимовичу:

— Новичок? Что-то не встречал его раньше. Справится?

В глазах старшего техника звена пробежала тень — не легко давалось решение.

— Иди, сынок, иди...

Вот он передо мной — самолет, будто нахохлилась опасная птица, готовая напасть. Осталось несколько шагов, но каждый дается с трудом, ноги двигаются вяло, еле-еле. Взор не отвести от головки бомбы под левым крылом. Чудится, что мембрана взрывателя, тускло блестящая своим оголенным кружком, дышит, как живая. Спокойно, никаких галлюцинаций! Говорят про минера, что он ошибается только один раз. И тут главное — не ошибиться. Шаг, еще шаг... Что это — бомба вроде гудит, точно зуммер; ветра нет, значит, это в ушах звенит? Спокойно!.. Бомба уже у самого лица, я ничего другого не вижу — только ее, закрывающую весь мир.

Теперь осторожно поднять руку с ключом, плохо, что она такая мокрая. Сердце колотится, тело покрывает испарина. Спокойно!..

Похоже, ключ вошел в гнездо — наступает тот самый момент. Повернется ключ или... Этот момент вобрал в себя риск и надежду, от него зависит все. Именно в тот миг — навсегда запомнил — отступил царапавший душу страх — я вдруг обрел уверенность: жив и буду жить! Такое зло взяло: да чтоб я не сумел вывернуть эту железку! Вот сейчас и поверну, только нельзя спешить, нажму мягко, осторожно. Нажимаю — нет, ни с места! Фу, ты, черт!.. Попробую еще раз, с другой стороны.

Стараюсь дышать ровнее, рука как будто не дрожит, аккуратно нажимаю посильнее — не двигается. Затянуто на совесть, наверное, с рычагом, стало быть, без первого рывка не обойтись. Выдержит или рванет?.. Набираю воздух, невольно прикрывая глаза и — раз! Чувствую, толкнулось под рукой, пошло, повернулось. Ух!..

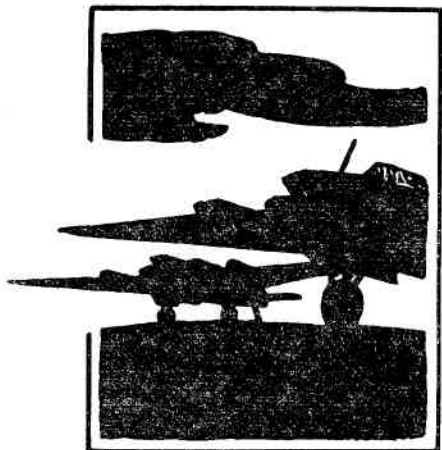
Удача слепа, как и любой случай. Но, ничуть не будучи фаталистом, думаю, что надо в нее, удачу, поверить, даже преодолевая себя. Без веры в свою счастливую звезду трудно воевать — это, конечно, тоже узнаешь не сразу.

Через минуту-другую, со злорадством заглянув через горловину в темное чрево бомбы — ну, чья взяла?! — я шагал с вывернутым взрывателем в руках к стоянке. Навстречу поспешали летчик и Василий Максимович, чтобы быстрее отогнать самолет, а за ними — другие. Чувство отрешенности, оторванности от мира разом исчезло, но ноги прямо-таки подкосились...

Вечером того же дня командир эскадрильи, возвращая мне рапорт, говорил:

— Понимаю твое стремление летать и слышал, что молодец. Однако решить сейчас ничего не могу. Здесь тоже война и каждый человек на счету, а самолетов — сам знаешь — становится все меньше. Зачислим в резерв воздушных стрелков, это обещаю. Подожди...

Ждать, конечно, можно, но что впереди? Кто возьмется загадывать на войне?



## ТОТ ДОЛГИЙ-ДОЛГИЙ АВГУСТ

— **С**кажи, какой бой самый трудный?

Воздушный стрелок из нашего звена старший сержант Иван Бородин, высокий парень под два метра, был известен всему полку тем, что носил ботинки 48-го размера и уже в войну его пришлось командировать в Ленинград, чтобы заказать подходящую обувь. Известен был и тем, что любил «подцепить» вот так каверзным вопросом.

— Молчишь, стало быть, не знаешь. Эх ты, с утра пораньше голова должна лучше варить. Ладно уж, помогу: самый трудный — тот, которого еще не было...

Что-то в его голосе на сей раз показалось мне, несмотря на обычную «ерническую» манеру, очень серьезным. Может быть, потому, что накануне экипаж, в составе которого летал Бородин, вернулся со множеством пробоин в хвостовой части фюзеляжа, и он, рассказы-

вая, как отбивался от наседавшего сзади «мессера», деланно удивлялся:

— Чудо, братцы, все вокруг изрешетил, а в меня, такого большого, попасть не сумел.

Потом, когда мы остались у машины вдвоем, он перешел на другой тон:

— Эх, кабы можно было броней прикрыться, вот бы повоевали...

Эти его слова натолкнули меня ночью — то ли во сне, то ли наяву — на мысль попробовать подвесить на турели воздушного стрелка бронеспинку из кабины летчика; запасную, конечно. И, услышав во фразе о предстоящем бое скрытый смысл, я поделился с ним своей идеей.

— А теперь скажи: какая бронеспинка самая лучшая?

— Поймал, перехватил, — ухмыльнулся Бородин. — Ясно, та броня, которая еще не стоит на ДБ и может нам пригодиться.

Запасной броневой лист нашелся в технической каптерке, и мы, изрядно повозившись, все же успели до первого вылета пристроить его на тросах к турели, чтобы легко поворачивался вместе с ней.

В тот день обошлось без испытания нашей кустарной новинки, и в экипаже посмеивались, что не иначе как разведка доложила самому Гитлеру об этой модернизации и отныне-де немцам дан приказ обходить Бородину за три небесные версты стороной. Но когда еще через день, попав в новую боевую переделку, он сумел срезать зашедшего в хвост «мессера», а на нашей бронеспинке остались вмятины от пулеметных пуль, которые, не будь такого прикрытия, пришлось бы на сей раз прямо в стрелка, — шуток уже не было слышно. Многие в эскадрилье ходили смотреть на эту спинку, и нехитрое устройство вместе с нашими фамилиями даже было помянуто в приказе.

Впрочем, последствия обретенной мной известности оказались позже неожиданными. Но этому предшествовал почти весь длинный-длинный август...

Фронт еще приблизился. Чаше стали налеты на Беззаботное. Нельзя сказать, что к бомбежкам привыкли — вряд ли такое возможно, но приспособились: знали уже, когда прыгать в щели, куда могут упасть бомбы, научились зажимать видимый страх, даже если над головой воют «лапти».

Однажды вечером нас предупредили, что предстоит ночной полет — какой и зачем, не было сказано; про-

сто — один самолет звена отправлялся в дальний рейс. Когда стемнело, на стоянку — прямо к новой, заранее установленной палатке — подъехала машина. Случайно я оказался рядом и увидел, как из нее вышла молодая стройная женщина — блондинка с пышной прической, в темном костюме, с небольшим чемоданчиком из крокодиловой кожи, будто явившаяся со страниц детектива. Ее сопровождали полковник в армейской форме и командир эскадрильи. Брезентовый полог палатки закрылся за ней, мужчины закурили, и до меня донесся обрывок тихого разговора:

— Так что — все готово, маршрут хорошо знают? — спрашивал полковник.

— Да уж не напутают, один из лучших наших экипажей. И ночка подходящая, сбросят точно — не сомневайтесь.

Женщина появилась из палатки в шлеме и летном комбинезоне, похоже — надетом поверх костюма, все с тем же чемоданчиком. Теперь, в луче фонарика, которым полковник подсвечивал путь, я рассмотрел ее лицо: правильные черты придавали ему волнующее очарование. А может, это просто романтически казалось — женщин у нас в эскадрилье не было, да и во всем полку, по-моему, тоже. Хотелось смотреть и смотреть на нее; само собой выплыло из подсознания пушкинское — «...как мимолетное виденье, как гений чистой красоты»...

Толчок этому дало, наверное, копившееся с возмужанием предчувствие любви, еще туманно-неясное, беспредметное — у меня, как и у многих сверстников, которые пришли на воинскую службу сразу после школы, не было своей девушки. И все же эта мечта порой пробуждала такие смутно волновавшие картины возвращения после войны, когда можно будет с небрежной гордостью рассказывать ей (чаще всего возникали образы одноклассниц — той, с кем ходили последней школьной зимой на каток или с кем неожиданно и смущенно целовались во время выпускного вечера) о собственных боевых заслугах. Но какие же «подвиги-заслуги» могут быть у оружейника, если врага и в глаза не видишь?

...Овал света переметнулся к самолету, женщина безмолвно поднялась через нижний люк внутрь, и машина стала выруливать, помигивая, будто прощаясь, цветными огнями на консолях.

— Ну, пошел, теперь доставит прямо на свидание, — сказал мне механик, провожавший свой экипаж. — А хороша, да?.. Дело, считай, высокого полета.



Может, говорил он это про нелегкий маршрут, а может быть — скорее — о самой миссии разведчицы, которая высаживалась в эту ночь в далеком тылу врага. Не знаю. Но почувствовав, будто разгорается что-то внутри, я подошел к еще стоявшему неподалеку комэску:

— Товарищ капитан, видите, даже женщины — и те летают. Как же с моим рапортом?

— Опять за свое! Разрешение надо спрашивать, прежде чем обращаться. По Уставу, вот что. И не спешить в пекло, как говорится, поперек батьки. Еще придет твой час, — устал отмахнулся он и обратился к полковнику, давая понять, что наш разговор окончен: — Ну, поехали, все, надо думать, сделано...

В ту же первую августовскую неделю из Беззаботного ушла большая группа самолетов во главе с самим командиром полка. Их — мы видели — отбирали особенно тщательно: инженеры придирчиво осматривали каждый узел, строго вчитывались в формуляры, выверяя ресурс моторов. Однако никто, даже летчики, толком не ведал, то ли полк начинает перебазироваться, то ли предстоит специальное задание. Единственное, что выяснилось, когда экипажи получили маршрут, — от одного к другому передавалось под строжайшим секретом: «Пошли на Эзель». Мы, конечно, знали, что это самый крупный остров Моонзундского архипелага, закрывающего морскую дорогу к Таллину и Ленинграду. Но что сейчас происходит на Эзеле, или, как его называют эстонцы — Саареме, и для чего там срочно понадобились дальние бомбардировщики? Первый месяц войны, перевернувший многие, казалось бы, неоспоримые положения, приучил к тому, что «наверху» рассматривают любые действия полка прежде всего в интересах сиюминутной помощи самым трудным участкам обороны. А летать с Моонзунда на фронт в Прибалтике вроде бы несподручно. Что же это могло значить?

Оставшуюся часть полка, хотя силы его ослабли, все интенсивнее бросали на поддержку наших войск: жернова гитлеровского наступления, которое удалось было приостановить, снова пришли в движение. Летчики рассказывали, что ударная группировка врага перешла в наступление на Кингисеппском направлении — это же совсем рукой подать до Беззаботного. Всем трагически понятно, что, охватывая наш район, вражеский удар нацелен дальше, на Ленинград.

Поздним вечером разбираю почти на ощупь снятый с самолета пулемет. А мысли — все об этом наступлении. Когда чистишь оружие, где все так знакомо и логично соединено, мыслится особенно ясно и сосредоточенно. Воображение рисует, как в фашистских штабах, а может быть, и сам Гитлер в Берлине, чертят на картах жирные, острые стрелы, протянутые к Финскому заливу и Ленинграду. Считают, поди, что их уже не остановить: самолетов — по полку видно — у нас мало, танков в войсках, говорят, тоже мало. Как оно дальше будет? Хоть бы где того зверюгу — Гитлера по сильнее ударить!

На войне, как и в жизни вообще, бывают разительные совпадения-символы; пусть они не сразу замечаются в ее движении, но раскрывают потом невидимый до поры смысл событий. Так случилось и на сей раз: в рассветные часы 8 августа, когда ударная группировка 18-й армии гитлеровцев начинала наступление, рассчитывая прорваться к побережью Финского залива, именно в эти часы где-то над Балтикой возвращались после первой бомбежки Берлина советские самолеты. Наша авиация, объявленная врагом «уничтоженной», достигла фашистской столицы.

Советское Информбюро сообщило: «В ночь с 7 на 8 августа группа наших самолетов произвела разведывательный полет в Германию и сбросила некоторое количество зажигательных и фугасных бомб над военными объектами в районе Берлина. В результате бомбежки возникли пожары и наблюдались взрывы. Все наши самолеты вернулись на свои базы без потерь». Это прозвучало для нас прологом крутых перемен к лучшему.

В Беззаботном, у кромки аэродромного поля, укрытой деревьями, собрался митинг. Со стороны фронта временами накатывался далекий гул, словно приближалась гроза, но сообщение из Москвы, которое было зачитано, позволило совсем по-иному ощутить близкую и не всегда ясную правду войны. Берлин — это было так здорово и так неожиданно! Кричали «ура» и многое другое, кто во что горазд, пока комиссар эскадрильи, потрясая над головой поднятыми руками, не сразу, но все же заставил этим жестом нас примолкнуть и торжественно произнес:

— Товарищи, вы еще не знаете главного. Ведь это — наши! Наш полк летал! С Эзеля, из Кагула. Во главе с командиром полка!..

Это известие вызвало новое ликование. И вместе с тем пробудило тревогу: как они смогли? Еще вчера далекий Кагул был мало кому известен, сейчас же он притягивал, точно сильный магнит, мысли — и радостные, и беспокойные. Все теперь поняли, почему именно туда перебазировали ударную группу — ближе к Берлину аэродромов, пусть самых третьеразрядных, в наших руках на Балтике не оставалось. Только ведь и с Эзеля до цели, как ни прикидывай маршрут, — лететь и лететь: в темной бездне ночи туда и обратно не менее семи часов, почти предел для ДБ. Подсчитывали, обсуждали, и выходило одно: любое непредвиденное осложнение, будь то серьезная встреча с вражескими истребителями или просто гроза на пути, которую надо обходить, — и все, не дотянуть до острова, моторы остановятся...

А фронтовая жизнь в самом Беззаботном шла своим чередом. По нескольку раз в день поднимались в воздух самолеты, чтобы нанести удары по танкам, артиллерии, ближним тылам противника и снова вернуться за бомбовым грузом. Если кого-либо сбивали в бою, мы по крайней мере знали, что это недалеко, и надеялись на лучшее: может, остались живы, доберутся до своих? У нас в звене повторяли слова Бородина: «Как хотите, а я считаю их не погибшими, лишь временно отсутствующими». С надеждой повторяли их и в тот день, когда не возвратился экипаж, где стрелком был сам Бородин, и никто из других летчиков не видел, удалось ли кому покинуть горящую машину... Дорогую цену приходилось платить за каждую задержку наступления гитлеровцев — они бросали в огонь все новые силы.

Прошедшие войну — в тылу ли, на фронте — помнят, как ждали тогда везде очередные сводки Совинформбюро, ловили в них названия-ориентиры, пытались читать между строк. Помимо общего, чем жили все: надо отбить врага! — искали в сообщениях из Москвы еще и свое, заветное, особенно близкое. Держался ли и как фронт на Кингисеппском направлении, быстро становилось известным в полку, а вот что слышно из Кагула?

После первого рейда на Берлин сразу же пришла весть и о новом, выполненном следующей ночью: «...Группа наших самолетов совершила второй полет в Германию, главным образом с разведывательными целями, и сбросила в районе Берлина на военные объекты и железнодорожные пути зажигательные и фугасные бомбы. Летчики наблюдали пожары и взрывы». Через три суток —

еще сообщение: «В ночь с 11 на 12 августа имел место новый налет советских самолетов на военные объекты в районе Берлина. Сброшены зажигательные и фугасные бомбы большой силы. В Берлине наблюдались пожары и взрывы»...

Надо ли говорить, как ободряли эти скупые слова сводок? На всем фронте советские войска ведут тяжелые оборонительные сражения, а наш полк участвует в бомбардировках такого масштаба и значения, наши товарищи, несмотря ни на что, летают над фашистской столицей! Понимали: это факт истории, ответ его падает и на нас. За несколько дней подготовили для Кагула еще пять машин — лучших из всех, какие были. Боевой строй поредел — осталась эскадрилья, не больше, но задач полегче летчики да и мы тоже себе не искали, тем более что гитлеровцы снова рванулись в наступление, обтекая район Беззаботного.

Канонада теперь слышалась с трех сторон: наши обескровленные, измотанные войска еще держались, но начали отходить. Эвакуация базы становилась неотвратимой — летали до последнего, однако авиация, как известно, не может работать под обстрелом прямой наводкой.

И настал час — это было, если не ошибаюсь, 26 августа, когда самолеты, отбомбившись где-то неподалеку, сюда уже не вернулись, а полетели на новую базу — под Стрельну, у самых стен Ленинграда. Туда же по дороге между разомкнутыми пока «клещами» немцев грузовики увозили технический состав, штабные документы и самое ценное оборудование. Остальное — часть бомбового запаса и складов по возможности минировали, чтобы не достались врагу.

Когда опустели капониры на самолетных стоянках, перед отходом последнего арьергарда, на командном пункте решался вопрос о группе прикрытия. Ей предстояло в нужный момент — не раньше, чем окончательно исчезнет даже призрачная надежда удержать Беззаботное, и не позже, чем перед самым носом гитлеровцев, взорвать заминированное. Все тот же писарь позже рассказывал мне об этом так. Адъютант эскадрильи, прикидывая на ходу, кого из техсостава эскадрильи включить в состав группы, вспомнил историю с бронеспинкой для турели стрелка и спросил:

— Тогда у нас кто из вооруженцев отличился?

Писарь назвал мою фамилию.

— Вот его и запишите, если пока не отправлен...

В поспешности эвакуации — многое даже не успели подготовить к уничтожению — и в случайности принимавшихся решений, конечно же, тоже отразилась известная растерянность перед неожиданными испытаниями, которые принесла война. Но осознанность эта пришла потом, а тогда сомнения, что все делается как надо, даже не возникали.

Наскоро сформированная группа разместилась в штабном блиндаже эскадрильи, где была линия телефонной связи. Два месяца назад как раз здесь я получил назначение в звено — всего два месяца, а кажется, это было давным-давно, в другой, далекой жизни, так много вместили в себя первые недели войны. В блиндаже уже не было строгого штабного порядка — немало пришлось перевероршить и побросать при спешном отъезде. Командир группы — им был назначен летчик из вспомогательного состава полка, по званию политрук (тогда некоторые летчики еще носили звание политсостава) — велел хоть немного прибраться и тут же, не входя в подробности, объяснил задачу группы:

— Будем ждать приказа на взрыв и действовать, когда скажут. У радики и телефона — постоянное дежурство, держать связь с полком, это первое. Второе — охрана: проверить объекты, где установлены боезаряды, и патрулировать тоже круглые сутки. Третье — при надобности самим вести разведку и докладывать в полк. У меня все. Вопросы есть?

— А как будем отходить? — с вялой угрюмостью спросил кто-то и, словно поправляясь, торопливо добавил: — Если, конечно, получим приказ...

— Группе оставлены самолет У-2 для связи в критической ситуации и полуторка. Нас семнадцать, каждый с винтовкой, гранатами, есть ручной пулемет. Не дивизия, понятно, но поскольку, как говорится, все в тельняшках, то, выходит, боевой взвод. Надо будет — за себя постоим.

В августе, тем более в конце его, темнеет быстро, и, едва мы успели осмотреться, спустилась ночь. Длинные сполохи освещали временами низкое небо за лесом, оттуда справа и слева доносились тупые удары, будто там методично что-то ковали.

— Бросает, фриц, не перестает, — зевая в кулак, сказал часовой, с которым мы стояли в паряде у входа в блиндаж. — Снарядов, видать, не жалсет, свой сон

разгоняет. Между прочим — интересный для нас сигнал.

— О каком это ты сигнале?

— Раз артиллерией садит, значит, оборона пока держится, не в белый же свет из пушек палить.

Сменившись, мы спустились в блиндаж; даже и там толчками отдавали разрывы.

А ночью я проснулся из-за густой, гнетущей тишины; пожалуй, впервые тогда понял: фронтовой сон, когда нервы напряжены, чётко к безмолвию — тишина чем-то да угрожает. Поднялся наверх; стрельбы и в самом деле не слышно.

— Точно, с полночи эдак, — подтвердил один из часовых, которые нас сменили. — Может, выдохся немец-то? — Помолчал, словно взвешивая сказанное, потом замотал головой: — Вряд ли, однако...

И впрямь наутро загромыхало вокруг с новой силой, будто до этого в самом деле гитлеровцы только «сон разгоняли». И в блиндаже сильнее стало ощущаться, как мелко подрагивает земля.

— «Сокол», «Сокол», я — пятый, отвечайте, «Сокол»... — непрерывно повторял дежурный связист у телефона, но линия молчала.

Радист, тоже не останавливаясь, настраивался на условленную волну; слышались треск, какой-то клокочущий посвист, а порой отрывистая, лающая чужая речь: видимо, штабы переговаривались с частями открытым текстом. В ранний час, правда, удалось поймать обрывок сообщения Совинформбюро, в котором говорилось о фашистских воздушных налетах на Москву. И дальше: «Разумеется, советское командование не могло оставить безнаказанными эти зверские налеты немецкой авиации на Москву. На бомбежку мирного населения Москвы советская авиация ответила систематическими налетами на военные и промышленные объекты Берлина и других городов Германии».

— Слышите, товарищи! — прочитав эти строки, которые радист сумел записать, обратился ко всем политрук. — Наши продолжают летать на Берлин. Герои!..

— Они-то герои, а мы забрались в блиндаж, как медведь в берлогу, — зло откликнулся один из матросов и выругался. — Чего отсиживаться, воевать надо.

— Прекрати болтовню, распустил нюни! Наше дело сейчас — ждать приказа, и будем ждать, что бы ни произошло.

Связи с полком так и не было.

Между тем во второй половине дня звуки боя стали заметно удаляться. Посланные в разведку принесли странную весть: перед нами своей пехоты они не обнаружили, немцев тоже не видели. А возвращаясь назад лесом, натолкнулись на троих красноармейцев. «Пробираемся скрытым манером от самого Волосова, — рассказывали они. — Отрезал нас фашист от своих. Но чуем, из одного окружения в другой котел угодили...»

Ждет ли и нас та же судьба, или сказанное о «котле» преувеличение? Так или иначе, напрашивался вывод, что мы действительно оказались позади прорвавшихся частей врага, и это вносило в ситуацию хоть предположительную ясность. Между тем рация вообще замолчала, а грустный, отрешенный голос телефониста: «Сокол», «Сокол», отвечайте...» — по-прежнему оставался призывом в пустоту.

— Что будем делать, товарищ политрук? Может, пора на У-2 со своими связаться?

Летчиком среди нас был он один — командир группы.

— Днем? С ума сошел — мигом собыют. Будем ждать. Ждать приказа.

Мы снова обошли бывшие самолетные стоянки, подправили, где пришлось, маскировку проводов у боезапаса — всюду был порядок. Но интуитивное ощущение тревоги продолжало нарастать. Что могло предвещать это сторожкое, неестественное успокоение?

Временами, пока было светло, стороной проходили немецкие самолеты, а в ранних сумерках покружилась над опустевшим аэродромом «рама», словно вынюхивая, что тут осталось. Все, кроме усиленного наряда часовых, забрались в блиндаж, но вскоре услышали гулко отдавшийся в бетонной коробке крик сверху:

— Командир! Горит! Поднимайтесь скорее...

Схватив оружие — остались на месте только дежурный телефонист и минер, — выбрались наружу.

— Что горит, где?

— Вон, видите, деревня занялась. Только что была там стрельба.

За аэродромом, километрах в трех-четыре, по невысокому холму разбежались вразброс крестьянские избы. Деревенька примелькалась взгляду так же, как и лес у самолетных стоянок, ровное поле впереди — весь наш привычный пейзаж. Летней порой в ранний час, когда зоревало солнце, эти избы, подсвеченные его длинными легкими лучами, первыми обозначали утро, выливая,

словно корабли, в отступавшую серость уходящей ночи. И тогда деревня казалась нарядной, веселой. А в остальное время ее, пожалуй, не замечали. Теперь на фоне чернильно-темного неба костры изб с красными языками выглядели зловеще. Что же там происходит?

Это стало ясно, когда на склон перед аэродромом выползли четыре танка — их черные коробки, рельефно очерченные сзади разгоравшимся пожаром, были похожи на театральную декорацию. Но, увы, они были реальностью. Выстроившись полукругом, танки открыли огонь — снаряды засвистели над нашими головами. У входа в блиндаж все, будто подрезанные, поплюхались на землю, хотя знали: если свистит, не страшно, это не твой, он уже пролетел; страшен тот снаряд, которого не слышишь. Стреляли совсем не по опушке, а дальше — по военному городку; видно, и «раме», крутившейся у нас под вечер, не удалось разобраться, что и где здесь осталось.

Танки между тем спускались, очертания их теряли прежнюю резкость, но теперь стало ясно: они нацелились через аэродромное поле прямо на нас. Увидел, и что-то задрожало у меня внутри, будто ступил в студеную воду.

Неожиданно послышался частый, ровный перестук запущенного мотора: «Та-та-та-та...» — это, вырвавшись из кустов и разом нырнув в ночную темноту, пошел на взлет У-2.

— Командир улетел, он, больше никому!

— Выходит, бросил нас, так его...

— Связь со своими нужна, братцы, выручит он нас.

— Как же, жди, выручит... Свою голову выручит...

Много раз потом возвращаясь мысленно к тем событиям, я пытался понять да и сейчас пытаюсь объяснить себе, почему это произошло. Конечно, страх — самая большая слабость, и еще Клаузевиц утверждал, что войны основываются на предпосылке о человеческой слабости. Однако командир нашей группы, как говорили те, кто его знал в полку, был вообще-то не из робкого десятка, и его слова: «Если понадобится, за себя постоим», сказанные группе вначале, вряд ли были бравадой, расхожим агитштампом. Так отчего же тайком улетел, никому ничего не сказав, бросив и дело, и нас в роковую минуту? Думаю, все обстояло сложнее банального представления о трусости, почему, собственно, и не называю его фамилии. Это было, пожалуй, бегство от ответственности в минуту душевной смятенности. Привыкнув



безоговорочно выполнять приказы и распоряжения, настроенный всей своей службой только на это, он оказался в растерянности, когда нельзя было дальше ждать указаний, но тем самым приходилось нарушить сказанное твердо: «Взрывать лишь по приказу!» А растерявшийся человек может перестать владеть собой...

В той ситуации мы могли располагать лишь минутами. После того, как командир оставил группу, хочешь — не хочешь, решение по старшинству выпадало принимать нам, двум сержантам. И в такой критический момент! Но ведь к этому тоже надо быть готовым. Волю, самообладание, решимость никто не получает в один миг, они развиваются из прожитого, накапливаются постепенно. Первых восемнадцати лет для этого, наверное, слишком мало, и на немой вопрос в обращенных к нам, мне и минеру, напряженно-острых взглядах товарищей я невольно ответил совсем не по-командирски — тоже растерянным вопросом:

— Так что же делать — подрывать?

Спасибо, хоть мой товарищ по званию — тот самый минер — не сплеховал:

— Будем подрывать, а что еще?

Как много значит в критическую минуту уверенное спокойствие даже одного человека! Жаль, что я не знал его раньше — сержант работал на минно-торпедном складе.

...Танки, обнаруживая себя редкими выстрелами, двигались к аэродромному полю медленно: возможно, гитлеровцы ждали встретить тут сопротивление или темнота их настораживала. Эта медлительность еще оставляла возможность действовать.

Позвав меня, минер открыл коробку взрывного устройства, повернул фиксатор дистанционного механизма и, убедившись, что телефонист со своим бесполезным аппаратом уже покинул блиндаж, снял предохранитель. Короткий, как выстрел, понимающий взгляд — глаза в глаза, — и рубильник взрыва замкнул.

Сердце колотилось, словно после долгого бега, а ноги всего-то вынесли снова наверх — к машине, где, прижавшись друг к другу в кузове, уже ждали остальные. И сразу — вперед, через темноту, по узкой дороге, огибавшей стороной военный городок, где еще продолжали рваться снаряды.

Машина рыскала, подбрасывая в кабине — нас трое в ней — до самого верха, словно хотела вырваться из рук

вцепившегося в баранку водителя. Но все это воспринималось как бы со стороны, не задевая сознания — оно было поглощено отсчетом времени, разделенного на нестерпимо медленные секунды. Две минуты... Три... Уже примерно пять...

Мы ждали взрыва, знали, что дело сделано и он должен вот-вот грянуть, однако каждая длинная минута сильнее придавливала тревожным, неуверенным чувством: а вдруг что-нибудь не так? И потому все оказалось неожиданным: сзади полыхнуло светом, выбелив деревья, дорогу, и тут же налетела ощутимо тяжелая волна грохота; ее прорезали ухающие, твякающие, свистящие звуки — рвались близ стоянки отдельные бомбы. Вот бы еще подгадало немецким танкам подойти туда!

Наш грузовик снова окунулся в темноту леса. Постепенно стало заметно, что он жил скрытой жизнью: по сторонам дороги, как тени, изредка проскальзывали люди, чем дальше, тем чаще мы проезжали мимо брошенных повозок, разбитых передков орудий, солдатских кухонь — лес хранил в своем затаенном мраке горькие следы окружения. Потом отчетливо послышалось — даже в кабине — завывание на высокой ноте: «Ээу-ээу-ээу...»; пришлось остановиться, над нами шел самолет. Ждали бомбежки, но самолет стал сбрасывать осветительные ракеты — словно развешивал фонари, чтобы все это разглядеть. Светящиеся авиабомбы лопались в черноте неба с тупым чмоком и горели невыносимо долго — пять секунд каждая, обливая замерший лес безмолвным, холодным, синюшным светом. Но вот ракеты погасли, теперь — вперед, вперед, опять в спасительную, ставшую еще более густой темноту.

Едем дальше, и неожиданно приходится останавливаться: дорогу загородила машина. Выскочив, разглядел, что это санитарный автофургон. Мотор его работает, а у открытой двери со знаком красного креста — девушка в армейской форме, плечи ее вздрагивают от рыданий.

— Возвращались за ранеными, и медсанбат потеряли. Кругом вроде немцы. Сейчас, как засветило, шофер в лес сбежал, — не сдерживая слезы, объяснила она.

Столкнув фургон на обочину и посадив санинструктора в кабину — мой напарник-сержант решил перебраться в кузов грузовика, — продолжаем путь. Скоро, по расчету нашего шофера, проселок должен вывести к старому шоссе Кингисепп — Ленинград, и, видимо, до него действительно уже недалеко: лес, притягивающий

тех, кто был отрезан врагом, в свою густоту, здесь опустел, совсем затих. Что же ждет нас на шоссе?

Деревья впереди вроде бы расходятся. Останавливаемся и, сжимая винтовки, пробираемся туда: да, это шоссе. Кругом удивительно тихо, только трепещет слегка под дождем листва на кустах, будто хочет что-то рассказать. В стороне временами поблескивают размытые клинья зарниц. После всего, что было, это безмолвие особенно неправдоподобно. Ехать дальше навстречу грозящей неизвестности, или, как те солдаты, что тенями двигались вдоль дороги, как шофер санитарной машины, искать судьбу в лесной глуши?

Есть в авиации термин: «точка возврата» — последняя точка, откуда еще хватит запаса бензина, чтобы достичь аэродрома, но, если пролететь хоть немного дальше, назад пути уже нет. Вперед или назад? — наша земная «точка возврата» на повороте к пустому шоссе тоже требовала последнего выбора.

Раздумывали недолго, как и в начале этой ночи, когда к аэродрому спускались немецкие танки. Переглянулись, тихо и понимающе обменялись горячим шепотом:

— Рисковать?

— Пока можно, надо ехать, это так. Двум смертям не бывать...

Снова забрались в грузовик по своим местам, шофер дал газ, и, угодив на повороте в какую-то сырую яму, машина забуксовала. Пока ее вытаскивали, послышался грубо нарастающий гул мотора, а потом — и близкий, резкий, как дробь кастаньет, перестук железа. Он сразу смахнул всех к кустам: сзади надвигалась черная, неправдоподобно огромная во тьме туша танка. Вот он уже почти уперся хоботом пушки в задний борт грузовика, и мы замерли в своей беспомощности, не в силах что-нибудь предпринять; мир как бы перестал существовать — только эта сиюминутная неотвратимость. Но тут случилось совсем неожиданное: из приоткрытого люка раздался молодой басовитый голос:

— Эй, черт возьми, есть здесь кто?..

Значит, это наши, наши! И разом вернулись ощущения реальности — холодных капель накрапывавшего дождя, запаха мокрой хвои, шума работающего мотора.

В осторожности танкистов, рискнувших остановиться перед пустым грузовиком, и в этом громком «черт возьми» была своя логика. Суровая логика начала вой-

ны с его окружениями и «котлами», откуда порой про-  
рывались и малыми силами, и всякими способами.

Перекинувшись парой фраз, мы узнали, что танкисты  
тоже выбирают к своим. День назад их машина была  
подбита, но ее удалось отвести в лес и кое-как отремон-  
тировать.

— Поехали, моряки! Держитесь сзади, как на бук-  
сире. Броня крепка!

«Броня крепка, и танки наши быстры» — строка из  
песни, которую мы часто пели в курсантском строю. Те-  
перь эти слова были не отвлеченными — самыми необхо-  
димыми, вселявшими надежду.

...Дорога едва угадывается в густой тьме: время к по-  
луночи, конец августа, да еще дождь. Это старое избитое  
шоссе, видимо, осталось в стороне от прокатившегося  
за лесом рассекающего вала немецкого наступления,  
однако раньше или позже оно должно вывести к распо-  
ложению врага. Что же, темнота поможет, прикрывая  
нас, либо предательски выдаст ему? Но впереди — танк,  
за которым споро бежит наша полуторка, и это питает  
надежды. Тем более что признаков опасности пока нет:  
ни встречной машины, ни проблесков огня, ни выстрелов.  
Война словно замерла в этой напряженной тишине.

Сколько же мы уже проехали от поворота? По-  
жалуй, километров восемь—десять, не меньше. Дорога  
по-прежнему укрыта лесом — пока все складывается до  
неправдоподобия удачно. Но вот неподалеку взлетают  
две ракеты, и под их бледным росчерком впереди стано-  
вятся заметными неширокое поле, а за ним деревня.  
Оттуда опять сигналият, танк сразу прибавляет скорость,  
и прямо на этот свет мы выскакиваем к каким-то позици-  
ям у первых изб — стоят грузовики, рядом орудия. В но-  
вом проблеске взлетающей над головой ракеты я даже  
замечаю — внимание произвольно фиксирует мелкие  
подробности, — что поднятый вверх ствол ближней пуш-  
ки заткнут кляпом: от дождя, что ли? Скорее всего, гит-  
леровцы беспечно попрятались в домах, и, ворвавшись  
с тыла, мы застали их врасплох и наделали переполох:  
стреляют часовые, убедившись, что это не свои, мелька-  
ют, будто перескакивая от одного к другому, огоньки, ухо  
ловит обрывок команды...

Вслед за танком наша машина резко свернула на  
зады деревни и идет теперь от него чуть в стороне; вдо-  
гонку стреляют уже гуще. Стреляют, кажется, и матросы  
из кузова. А рядом с танком, мне это хорошо видно, рвут-

ся снаряды. Внезапно танк останавливается, точно споткнувшись о преграду, и его накрывает огненно-красная шапка: прямое попадание.

Отвернув еще дальше, наша машина, тяжело подпрыгивая на рытвинах, проскакивает мимо. Как же танкисты, надо бы остановиться... Эх, поздно! Чувствую несколько сильных толчков, из кузова доносится крик, грузовик оседает набок, но водитель продолжает выжимать из него движение. Вдруг замечаю, что теперь стреляют и впереди: красными светлячками обозначаются вспышки. Наши, что ли? Деваться все равно некуда. Наконец машина сползает вниз, задевает за дерево и останавливается. Пули свистят над нами, позади чавкают разрывы мин. Едва открываю дверцу, чтобы посмотреть, куда заехали, как слышу грубый, но такой родной голос:

— А ну, вылезай, прибыли. Кто такие?

Отлегло от сердца, само вырвалось из груди:

— Свои, свои!..

— Бросай оружие, там посмотрим, какие свои. Бросай, говорю! Руки вверх!

Вот ведь как бывает: грозный приказ, а такое облегчение после этой гонки от смерти. Значит, выбрались все-таки к своим!

Из кузова выпрыгивают матросы.

— Помогите скорее, у нас раненые. А сержант убит...

Мы оказались в овраге, за гребень которого зацепились наши отходившие части: окоп прямо над машиной. Она сильно посечена пулями, осколками — даже удивительно, как могла такая сюда докатить.

Деловито распорядившись помочь сперва раненым, — говорил он почему-то сухим шепотом, словно боялся спугнуть утихавшую перестрелку, — командир в плащ-палатке, которого красноармейцы называли просто «старшóй», приказал отвести здоровых «в тыл». Это была землянка, метрах в полутора, наскоро отрытая, маленькая и совсем сырая, похожая на пору, — едва втиснувшись, можно сидеть, прижавшись тесно друг к другу. Как же хорошо, когда ты у своих, пусть в тесной землянке с часовым у входа, но где можно наконец чувствовать себя дома!

Это чувство дома и усталость, пришедшая на смену лихорадочному напряжению, быстро сморили всех. Правда, я еще успел подумать, как нужна на войне удача. Случайной удачей было, что старое шоссе, куда

мы выбрались, лежало в стороне от острия наступления врага и пока им не использовалось. Особенно повезло нам, когда неожиданно встретились с танком, экипаж которого выбирался из окружения. Удачами были и темная дождливая ночь, и беспечность врагов — не ожидая удара сзади, они спокойно расположились в деревне, и сравнительно близкая линия обороны наших отступавших войск.

Трудно теперь объяснить, но так было — расслабленность от счастливого исхода совсем отодвинула горькую правду происшедшего: танкисты прикрыли нас своей грудью, а мы ничего не сделали, чтобы спасти этих парней, если кто из них оставался живым. Даже не попытались — пусть под огнем, в безнадежной ситуации. Тогда эта мысль даже не шевельнулась, однако уже сколько лет терзает душу...

К утру, едва начало рассветать, нас, тех, кто мог сам идти, отправили дальше. Теперь группу сопровождали уже двое часовых — мы, безоружные, видели в них своих защитников, что ли. Но все было не так просто. В пору первых военных неудач и затянувшегося отступления у многих обострилась подозрительность; справедливо сказать, что далеко не всегда она была излишней. И появившиеся среди ночи моряки на грузовике, прорвавшемся через переднюю линию немцев, вызвали у командира батальона, к позиции которого нас вынесло, известную долю сомнения. На всякий случай — береженого бог бережет — он и принял свои меры предосторожности.

Это было, как оказалось, только началом.

В каком-то штабе, куда нас привели, скорее всего — штабе дивизии, распорядились доставить группу в Стрельну под конвоем. Так и прибыли мы к вечеру в свой полк в сопровождении сержанта и красноармейцев, словно арестанты. Решили, что уж здесь-то все сразу разъяснится, а оказались в самом деле почти арестантами — кого по двое, кого по отдельности поместили на ночь в клетушках подвала большого кирпичного здания у кромки аэродрома. И старший лейтенант из особого отдела потребовал от каждого написать объяснение: что мы сделали в Беззаботном и как оттуда выбрались.

— Лично я вам верю, — сказал он. — Но время такое, проверить надо. Пиши правду, как она есть.

— А в чем же вы нас подозреваете?

— Задавать вопросы — это мое право, а не твое. У тебя сейчас есть обязанность — написать правду.

Как потом стало известно, командир группы, покинувший ее в роковой час нашей одиссеи, доложил, что, хотя связи не было, мы, продержавшись до последнего, произвели взрыв, лишь когда оказались в кольце подступивших немецких танков. В этих условиях взять-де кого-нибудь еще на борт У-2 было невозможно, а он сам вылетел, только убедившись в выполнении задания и для того, чтобы об этом доложить.

Все почти правильно — наверное, когда пришел в себя, перелетев линию фронта, сомнений в нашей участи у него не было. Но это «почти» все и меняло. Ложь всегда влечет за собой новые низости...

Та ночь первый раз поколебала мою по-юношески максималистскую веру в силу правды и обреченность лжи, трусости, предательства. Как же это: мы через такое прошли и вернулись, а тут... Для чего же писать? Охватило чувство упрямого безразличия и отключенности от всего, что было, есть, будет. Догорала коптилка, лист бумаги, выданный для объяснения, оставался чистым...

— Что же это — даже не писал?! Хорош сержант. Да прежде всего должен был ты подумать не о себе — о товарищах. А он, видите ли, обиделся, ничего лучшего не нашел. Ну что ж, рассказывай, коли так вышло, слушаем.

Верно, что утро вечера мудренее. Старший батальонный комиссар, к которому меня вызвали утром, — возможно, он был в гарнизоне начальником особого отдела, не знаю, — располагал к доверию. Человек уже в годах, он напоминал учителя химии нашей средней школы в Москве, который всегда безуспешно пытался казаться строгим, а был истинным добряком. Слушал комиссар с какой-то внутренней зоркостью, изредка вставляя: «Подожди, еще вот что выясним» или «Об этом давай подробнее». Когда рассказ дошел до событий на передовой пехотного батальона, где к нам отнеслись с подозрением, нахмурился и сказал:

— Стоп, дальше все известно. Теперь посиди в соседнем кубрике, мы других слушаем...

Да, это был настоящий комиссар! Обстоятельно и непредвзято расспрашивая всех вернувшихся, он убедился, что было на самом деле. Нас снова позвали, уже всех вместе. Мне показалось, что за какой-нибудь час

бесед лицо комиссара изменилось: посерело, резче обозначились морщины, во взгляде появилась тяжесть. Но обратился он к нам тем же спокойным, добрым тоном:

— Вы понимаете, конечно, товарищи, что проверка в такое трудное время необходима. Вот и разобрались, теперь, можно сказать, все ясно. За честную и смелую боевую службу вам спасибо — молодцы. Сержанта из полка, — он кивнул в мою сторону, — прошу пройти в штаб, вам помогут составить донесение. Остальные пусть отправляются по своим местам — в эскадрильи и батальон аэродромного обслуживания.

На прощание комиссар каждому пожал руку, пожелав хорошо воевать и дальше.

В штабе, куда я обратился, было не до того: наступление врага продолжалось, он рвался к балтийскому побережью, и фронт требовал авиационной поддержки.

— Никуда донесение не убежит, это успеется, — сказали мне. — Сейчас надо срочно новый вылет готовить.

Когда я выходил, два краснофлотца — штыки примкнуты к винтовкам — провели мимо бывшего командира нашей группы. Он резко отвернулся, словно отшатнулся...

Что с ним дальше стало — говорили всякое, но в полку больше мы его не видели.

Наша эскадрилья располагалась в дальнем углу большого аэродромного поля. В строю были лишь четыре ее боевые машины, стоявшие под соснами в мелко открытых капонирах, — только и название, что эскадрилья, а по существу звено.

— Вот хорошо, что нашелся, — обрадованно встретил все тот же Василий Максимович. — Уж думал было, пропал. Раз цел, руки-ноги на месте — берись за работу. На-ка, покури сперва, — протянул он пачку папирос. — Вижу, истосковался...

Плохо, что не могу подробнее рассказать о нем, хотя полное лицо нашего «деда», иссеченное морщинами, и его грузная фигура в затертом комбинезоне с оттопыренными разным полезным грузом карманами так и стоят перед глазами. А вот фамилию — не помню и установить не удалось, ведь сколько лет утекло. Тогда субординация не позволяла нам, молодым, многое узнавать о старших, да и не до того в общем-то было все короткое время совместной фронтовой службы. Знал только то, главным образом, что сам видел. Василий



Максимович вышел из мотористов, можно сказать, рос вместе с нашей авиацией, не очень силен был в грамоте — формуляры во всяком случае не любил заполнять, но в любых вопросах техники разбирался как бог и пользовался в эскадрилье общим уважением. А мы уважали старшего техника своего звена еще и потому, что понимали его добрую отзывчивость. Самое трудное всегда он брал на себя, и что-то отцовское, как теперь бы сказали — наставническое, я постоянно чувствовал в его взгляде, обиходных словах, даже распоряжениях.

...В первых числах сентября немцы вышли на подступы к Стрельне, откуда полк снова и снова летал для поддержки фронта. Кольцо блокады сжималось вокруг Ленинграда, и мы получили приказ перелететь на новое место базирования — под Тихвин, куда направлялись и «берлинские» экипажи, возвратившиеся с Моонзунда. Поместиться в самолетах могли далеко не все; мне удалось пристроиться в бомболюке. Когда взлетели, через щель в его створках были видны внизу кромка Финского залива, подчеркнутая белой пеной волны, дым над поселком, поля и леса...

Позади оставалась Балтика, оставались и два месяца войны со всеми их сложностями, горестями и до сих пор недописанной летописью. В книге М. Львова «Боевой! Так держать!» о летчиках 1-го минно-торпедного полка события, которые развернулись вслед за оставлением Беззаботного, излагались несколько иначе, чем было на самом деле: «В полк Цукасов и его товарищи уже больше не попали. Они ушли в морскую пехоту, сражались под Ленинградом, Москвой и Севастополем, и лишь в сорок третьем году те, кто остался жив, вернулись в авиацию».

Возможно, так оно и случилось с теми, кто вынужденно остался в Стрельне, но не со мной. Я летел в бомболюке самолета, шедшего в строю сильно поредевшего полка, и думал, не заглядывая вперед, лишь об одном: как бы случайно не загреметь вниз...



## ОТ БАЛТИКИ ДО ЧЕРНОМОРЬЯ

**В**се обошлось благополучно в этом полете. Один за другим ДБ тяжело приземлялись на раскисшем, едва прикатанном поле. Чернел вдоль него осенний лес, сыпал холодный дождь, под ногами чавкала вода. Что делать дальше в этой глухомани, где ни взлетной полосы, ни бомб, ни бензина?

Быстро смеркалось, и едва расставили, укрыв среди деревьев, самолеты, как сырая темнота поглотила все вокруг. Вскоре пришли две полуторки — выходит, нас все же ждали; забуксовавшая, казалось, машина военной организации продолжала работать. Грузовики забрали летный состав и повезли в ближайшую деревню, до нее, сказали, километров двенадцать. А остальные стали устраиваться кто во что горазд. Впрочем, «устраиваться» — понятие относительное, когда ни палатки, ни шалаша и даже огня не разведешь. Бросили прямо на измокшую, словно болото, землю брезентовый чехол от мото-

ра, поплюхались на него и накрылись сверху другим брезентом. По нему сразу же нудно заколотил усилившийся дождь, и на ум пришла давняя шутка из серии неожиданных вопросов: «Сверху вода, снизу вода, посередине человек; что это такое? — Человек тонет». Жизнь порой делает реальностью даже глупые шутки...

Через два часа была моя очередь заступать на пост охраны у наших самолетов. Темень — хоть глаза выколи, а лес наполнен тревожными звуками: закрипело под ветром дерево, будто жалуясь, что-то щелкнуло, потом зашуршало, и снова слышен только дождь. Теперь хрустнул сучок — уж не подбирается ли кто? Нас предупредили, что гитлеровцы, возможно, высадили в неустановленном месте этого обширного лесного края разведывательный десант и надо смотреть в оба. Обхожу самолет, держась совсем рядом с фюзеляжем, от прикосновения к холодной дюралевой обшивке слабеет гнетущее ощущение одиночества. Досылаю патрон в винтовку, открываю дверцу нижнего люка — в случае чего пулемет на турели заряжен. Так-то лучше, увереннее.

Медленно, как вечность, тянутся минуты, отсчитываемые каплями дождя, которые скатываются за воротник. Постепенно мысли переносятся к завтрашнему дню: с утра нужно будет почистить все самолетное оружие, в такой сырости оно может отказать, и, конечно, узнать, когда подвезут боезапас, — назначат вылет или нет, машины должны быть готовы. Обычные заботы оружейника, ставшие для меня пока самыми главными.

Вот уж не думал, что так сложится судьба! Раньше на нее, на свою недолгую еще, но уже немало принесшую военную жизнь просто некогда было оглянуться. А теперь, в одиночестве ночного караула, когда в сторожке тишине так томительно тянется время, мысли об этом раскручиваются и бегут, словно проникая из безмолвия сырой ночи.

В 1940 году, получив призывную повестку из военкомата, я советовался с отцом: куда лучше пойти служить. Решили, что в артиллерию — там больше придется иметь дело с математикой, которой увлекался. После медосмотра и прочих формальностей на призывной комиссии полковник-военком добродушно спросил:

— Каким родом войск интересуетесь?

Для чего было спрашивать, если, услышав ответ и не придав ему никакого значения, он поднялся и торжественно произнес:

— Поздравляю, вы зачислены в Военно-Морской Флот.

— Но я хотел бы в артиллерию...

— Повторяю, вы зачислены во флот.

Тогда, едва окончив средние школы, мы все были еще слишком зелены, чтобы ощутить приближение военной грозы и осознанно заглянуть вперед; личные интересы, связанные с той или иной армейской специальностью, пожалуй, тоже играли не столь уж важную роль. Занимало другое: в армии предстояло служить три, а на флоте — целых пять лет, и разница эта виделась крупной неудачей для тех, кто планировал «гражданскую» жизнь. Насколько эти расчеты были наивными!

Позже, с первых шагов службы, даже ради формы нас никто больше не спрашивал о желаниях. Да мы и сами быстро поняли, что на воинском пути личные предрасположенности и намерения отодвигаются на задний план — место каждого здесь определяют общие интересы куда более высокого порядка. В Балтийском флотском экипаже, привычно разобравшись с призывниками, которых собрали в Ленинград из разных городов страны, за день-другой обмундировали всех и определили по командам. Нашу составили почти исключительно выпускники десятилеток, подбирали по этому признаку: «Будете служить в морской авиации, учиться в школе специалистов». А когда, добравшись до Ораниенбаума и прошагав километров пять по раскисшей дороге, оказались на месте, следующий — еще более частный вопрос решился даже проще, как бы сам собой. Нашу команду целиком направили в третью роту — роту оружейников, спать мы ложились уже с твердо предначертанной военной судьбой...

Все это было очень далеко, и отсчет времени шел теперь по-иному. Мало сказать, что два месяца войны научили куда большему, чем долгие занятия по школьной программе; они позволили по-настоящему представить себе, что это за авиационная специальность — оружейник.

Реальности войны не располагают к громким словам, чаще всего во фронтовом аэродромном лексиконе были будничные понятия: «вылет», «работа», в лучшем случае — «боевая работа», даже когда под этим подразумевается опаснейший воздушный рейд.

Боевая работа оружейника (мастера, механика, техника, считая по должностной лестнице снизу вверх) была не просто тяжелой — порой изнуряющей. Подвезти к самолету, поднять и подвесить бомбы — хорошо, если стоки-

лограммовые, а то и в полтонны — и все на руках, с простейшими приспособлениями. Перетаскать и заправить стрелковый боезапас — это ящики снарядов для пушек и пулеметных лент, постоянная пища воздушной войны, настолько обильная, что ее трудно выразить цифрами: ведь только один пулемет ШКАС обладает скорострельностью 1200 выстрелов в минуту. Установить «эр-эсы», реактивные снаряды — авиационные «катюши», кстати, появившиеся на самолетах раньше, чем в наземных войсках. Но и это лишь часть дел: оружие надо чистить, исправлять повреждения, отлаживать, а время никогда не ждет, даже если дождь льет как из ведра, или на злом морозе ладони прихватывает к металлу так, что сдирается кожа, или, наоборот, он раскаляется жарким боем и летним солнцепеком. Темп, темп, темп — требует фронтовая обстановка. За вылетом — вылет; скорее, еще скорее, сколь бы ты, оружейник, ни устал!

Для нас, молодых здоровых парней, тяжелее физической усталости было, однако, то внутреннее напряжение, которое вызывала мера ответственности: никакого права на малейшую ошибку. Что может быть хуже в бою, чем отказ оружия? Это все равно что с пустыми руками идти навстречу врагу, это поражение, это гибель... Но как много тонкостей, от которых зависит бесперебойное и точное действие сложного авиационного вооружения! Один испорченный пиропатрон, и система сбрасывания бомб не сработает, торпеда не пойдет в цель; случайная оплошность при установке взрывателя грозит катастрофой; пушка, не пристрелянная синхронно с поворотом винта, разнесет его при первых же выстрелах; пулемет, в котором износилась самая мелкая часть или просто осталась грязь, замолчит в роковую минуту. И все это оружие — разных видов, разного калибра — должен знать так, чтобы даже в темноте, вслепую, на ощупь быстро обнаружить и уверенно исправить любой изъян. Впрочем, червь сомнения, сделано ли все, как нужно, постоянно гложет внутри.

Когда экипаж не возвращается с задания, тяжелым камнем давит мысль: не подвело ли вооружение? Даже если становится известным, что наш самолет сбит зенитчиками, к примеру, эта мысль подспудно продолжает мучить, рассыпаясь на множество новых вопросов: вели ли огонь с борта по зениткам, пришлось ли отбиваться от истребителей противника, сбросили ли на цель бомбы?.. Обычно жизнь уже не давала на них ответов,

тем горше воспринималась каждая потеря, тем строже к себе делала нас самих.

И конечно же, боевая работа оружейников была опасной — под бомбежкой, когда трудно поднять голову, вылезает из щели спасать самолеты; охраняешь их с винтовкой в руках, а порой приходится и отражать вместе с другими техниками просочившихся через передний край немцев или выбираться из окружения, как случилось с нами в Беззаботном. Но опасной она была еще и сверх того, что выпадало всем на фронтовых аэродромах, — работа с оружием опасна сама по себе. Недаром говорят, будто и незаряженное ружье стреляет, а тут постоянно имеешь дело с зарядами, взрывчаткой, патронами...

Можно считать, что мне повезло: и сравнения нет с трудной военной судьбой бойцов границы, принявших в июне на себя первый удар, — вот уж им-то выпала смертельная доля, или красноармейцев, которые изготовились сейчас в окопах под Ленинградом, чтобы с рассветом отбивать новую атаку немецких танков, — кто из них встретит день живым? И в артиллерии, попади я туда, ясно, не пришлось бы вылетать из блокадного кольца в тыл... Тьфу, что-то пустое, трусливое, шкурное за этим «повезло»! Настоящая, пусть и трудная судьба в лихую для всех годину — видеть врага в лицо, стрелять в него, биться с ним до последнего. Недаром столько оружейников и механиков в полку хотят стать воздушными стрелками!

Только здесь, среди лесов за Волховом, когда в эскадрилье остались лишь отдельные уцелевшие самолеты, эта возможность стала еще меньше, чем когда я писал рапорт командиру. Обращаться с новым сейчас бессмысленно. Сжимая винтовку и напряженно вслушиваясь в темноту, утешаю себя тем, что все спокойно, скоро смена и впереди день, в который многое может измениться. Вдруг, к примеру, станет известным, что получаем новые самолеты — ведь должно же так быть...

Однако день проходил за днем, а с этим главным ничего не менялось. Полк не мог воевать, полк ждал. За неделю мы подлатали оставшиеся самолеты, вырыли для них капониры, капитально построили зимние блиндажи — в два наката бревен, с нарами и печками; после ночевки под брезентовой «крышей» новое жилье казалось верхом комфорта. Съездили по очереди в ту самую ближайшую, но неблизкую деревню — помыться в крестьянских банях, вдохнуть воздух гражданской жизни. Наладились собирать

грибы, вокруг их была прорва, — хоть легковесная, но добавка к скудному рациону, которым вдали от баз приходилось довольствоваться: черный сухарь с несладким чаем на завтрак, каша — в обед, а вечером — что бог пошлет. Война как бы отодвинулась, выключив нас из своей орбиты, и осознавалось это особенно остро потому, что с фронтов доходили нерадостные вести: гитлеровцы продолжают наступать, пал Смоленск и появилось такое тревожное Московское направление... Хотя и не по своей воле оказались мы в стороне, но чувствовали себя, словно бежавшие в трудную минуту с поля боя.

От всего этого незаметно остывала и слабела та горячая упругая вера в краткосрочность, случайность наших неудач, в близкие перемены, с которой прошли через первые недели войны. Как-то сами собой стихли разговоры о том, что обнадеживающего «выловила» между строк официальных сообщений дотошная военная молва; бывшие раньше в обиходе бодряческие шутки теперь вызывали раздражение.

Однажды вечером, пересказывая сводку Совинформбюро, принятую по радио, — газет мы уже давно не видели, — техник, бывший в нашем блиндаже агитатором, закончил по обыкновению:

— Вопросы есть?

Блиндаж хмуρο молчал.

— Значит, ясно, если и отступаем, то временно. Наш долг — лучше воевать за победу...

— Ну, пошел, — оборвал его вдруг моторист Рябушин. — Твоя «ясность» у нас вот где сидит. — Он поднялся, упершись головой в верхние нары, и похлопал себя ниже спины.

— Да ты, Рябушин, спятил, помнишь, кто — это же сам товарищ Сталин сказал: победа будет за нами...

— А что с того, если до такого уже довоевались?! Разве этому нас учили, на это надеялись? Чего теперь — ждать, пока Гитлер сюда придет? Куда дальше драться? Может, на Таймыр или Новую Землю, ну, ответь!

И резко махнул рукой, словно перечеркивая вырвавшийся невольный вопрос и понимая, что такие мысли надо гнать прочь самому, а не выкладывать.

Верно: гнать надо сомнения. У других тоже камень на душе, многие похоже думают, и мне это приходило в голову. Но зачем говорить вслух — только всех еще больше расстраивать? Потому и молчим. А он вот вылез...

Рыжеватый худой парень с благостным лицом, кажется, ивановский, Рябушин, вопреки своему скромному виду, отличался задиристостью и не любил держать язык за зубами. Однокашники по курсантской роте в школе помнили, как на строевом плацу, муштруя новобранцев придирами, сержант назвал его «рыбой» и «студнем», присовокупив непечатные эпитеты, а он тут же ответил: «Груби, груби, этим ты себя унижаешь, а не меня. Но все равно, если не извинишься, что хочешь делай, а исполнять твои команды не буду». Да так резко сказал, что у того сержанта даже сразу не нашлось слов. Строптивный курсант отсидел свое на «губе», однако завоевал у товарищей уважение. А сейчас сказанное им — замахнулся на такое! — как бы разделило нас невидимым барьером.

— Это я вообще, к примеру, — спохватившись, решил поправиться Рябушин, и голос его заметно слинял. — Погорячился, если правду сказать...

— Контра ты, Рябушин, вот что! — не принимая этого извинительного тона, отрезал техник. — Раскрылся, контра!..

Рядом со мной зашумели, отметая и эту крайность: ну, вырвалось у человека, что уж так-то? Тоска мутнеет в глазах от этих беспросветных дней в лесной глуши, а тут еще сводка плохая — вот и вырвалось, будто случайный выстрел.

Однако на другой день Рябушина вызвали в штаб и вскоре отправили из полка.

При разговоре в блиндаже были все свои, но вопроса — кто мог донести о происшедшем, — у меня да и у остальных, наверное, не возникало. И само понятие «донос» в его прямом смысле вряд ли тогда приходило в голову — сообщил!.. Мы-то не придали значения словам Рябушина, хотя техник и одернул его. Но вот нашелся человек серьезный, думалось, не подозрительный, а бдительный — может, сам техник или кто другой; пожалуй, прав-то он. Есть правда «наша», признанная, а есть вредная. Пусть разберутся, кому положено, ведь если все начнут вслух так рассуждать — что получится, какой подрыв основ и веры?! Время суровое, и спрос тоже суровый...

Через несколько дней по эскадрильям сообщили, что техсостав, который оказался лишним из-за отсутствия самолетов, приказано откомандировать для формирования новых частей. Выходит, в тыл, еще дальше от войны? Многие из попавших в нашу группу без раздумья отказались бы сейчас от лейтенантских или сержантских наши-



вок: краснофлотцев направляли в морскую пехоту, на фронт — им откровенно завидовали.

А мы, проделав из полка немалый путь, добрались до железнодорожной станции, благо легок военный скарб: у кого чемоданчик или вещевой мешок, у кого вообще ничего не осталось. В тупичке дежурный указал на два пустых товарных вагона с островками подгнившей соломы на грязном полу: «Можете занимать, ночью отправим»... Станция была маленькая, тихая, в наступивших сумерках темнели притулившиеся к избам палисадники и сараи, подступая к самым путям. В одном из них, побольше, оказался магазин. На удивление нам, совсем отвыкшим от этого, он свободно торговал водкой и консервами «Перец в томате», ими были заставлены все полки...

Утром, проснувшись в вагоне, я увидел в проеме наполовину раскрытой двери пробегающую мимо плотную стену леса; потом степенно поплыло темное поле, подернутое озерцами тумана; мелькнула на холме деревенька — верно, уже вдовья и сиротская. Северный край, родная необозримая Россия! В каком мы долгу перед тобой... Выглянул наружу — наш состав всего из трех товарных вагонов да платформы зенитчиков тащила маневровая «овечка», паровоз под стать поезду, но ехали пока мы довольно быстро. Только вот куда?

В ровный перестук колес неожиданно ворвалась рваная дробь крупнокалиберного пулемета, и почти сразу раздались два сильных взрыва. Вагон закачался, словно от землетрясения, что-то грохнуло, заскрежетало, поезд остановился. Все попрыгали на землю, плюхаясь тут же, у рельсов, или отбегая на несколько метров. Остро пахло толом, сзади, у платформы, оседало коричневое, похожее на высокий куст, облачко: бомба ударила рядом. А в небе, сером и холодном, сделав разворот, снова заходил вдоль железной дороги, теперь уже со стороны паровоза «Мессершмитт-110». Зенитчики молчали, их пулемет сразу после взрыва захлебнулся, и летчик, картинно поиграв двумя киями — прицеливался и переводя машину в легкое пики, прошел состав длинными очередями. Султанчики разрывов цепочкой вспыхнули на крышах вагонов и пробежали вдоль колес. Возьми он чуть левее, очередь как раз пришлась бы в нашу неглубокую канаву, где сгрудилось столько народу. Пока можно, надо отбежать к спасительным кустам, где меньше чувствуешь себя открытой, незащищенной мишенью. Но «мессер» улетел —

то ли боезапас кончился, то ли бензина не хватило для нового захода... На насыпи укладывали тела погибших, среди них рядом лежали две девушки-зенитчицы. Война обрывала молодые жизни, как осенний ветер — листья с деревьев.

Разбитую платформу пришлось отцепить, но паровоз оказался исправным, и поезд двинулся снова. Сквозь дыры в пробитой крыше вагона проникали косые, веселые столбики света...

Дальше наш состав, который стал еще короче, точно обрубок, шел на удивление благополучно. И вечером следующего дня мы остановились на подъездных путях вокзала — довольно большого, но казавшегося еще больше от строгой светомаскировки. С трудом разобрали надпись по фасаду: «Всполье»; название этой узловой станции под Ярославлем знали многие и обрадовались — выходит, ехали все же к Москве. Может, там на фронте и понадобится? Посыльный от военного коменданта, проложив коридор через тесную, глухо гудящую вокзальную толпу, подвел нас к поезду из пассажирских вагонов и махнул рукой:

— Счастливо, братва. Забирайтесь, скоро пойдет...

— Стой, куда? Смотри, все двери закрыты!

Но провожатого уже как сдуло. Хорошо, среди нас нашлись люди опытные: оказалось, ствол нагана не хуже ключа проводника открывает запор вагонной двери с треугольной сердцевинкой. К тому же — наган убедительный аргумент, если тебя не хотят пускать в вагон. Словом, мы обосновались в поезде, и обыкновенная жесткая полка — принадлежность другой, мирной жизни — показалась мне райским ложем, особенно когда колеса начали свою усыпляющую скороговорку.

...Из Москвы команду бывших балтийцев отправили в Саранск — оказывается, он и был местом нашего назначения. Далеким от морских просторов город чернел флотскими шинелями и бушлатами с голубыми нашивками: той осенью здесь был центр переформирования морской авиации. Трехэтажное здание то ли школы, то ли техникума, где мы нашли приют, было нашпиговано двухъярусными койками так, что проходов почти не оставалось.

— Знаешь, что довелось тут, в городе, услышать от одного местного умника? — рассказывал мне вскоре новый знакомый, тоже мастер по вооружению Федор Зверев. —

Саранск, говорит, можно сегодня расшифровать в полном ажуре с обстановочкой; следя по буквам: «Собрались... аховые... рыцари... авиации... немецкой... силой... кокнутые». Каков стервец, а? Вон Маврушин так разозлился, что хотел даже тумака ему отвесить, еле удержал.

— Да он, этот парень, просто тебя разыгрывал,— добродушно уточнил Федин приятель, сержант.— Завел человека своими шуточками, он и не остался в долгу.

Как ни объясняй, а мне этот «розыгрыш» очень не понравился, особенно язвительные эпитеты «аховые» и «кокнутые». Принято считать, что в любой шутке есть доля правды — неужели на нас здесь могут так смотреть? Болтаться в тылу без дела, когда каждая фронтовая сводка сдержанно прикрывает очевидно плохие вести, само по себе нелегкое испытание, а эти мысли — как соль на кровавую рану. Тем более что «переформирование» было где-то в неопределенном будущем, пока же мы томились в дождливом холоде и грязной неустроенности, казалось, безо всякого смысла.

Бродя по улицам, наша сдружившаяся троица встретила однажды капитана Павлова, летчика, хорошо знакомого Звереву и Маврушину по прежней службе. Он тоже вспомнил обоих и стал расспрашивать о саранском бытии, которому у меня пошла уже вторая неделя, а у них — еще больше.

— ... В общем, ждем невесть чего, наверное, погоды,— в обычном своем стиле закруглил рассказ Федор.— Жаль только, вопреки пословице, не у моря. Сейчас бы в теплой волне нежились...

— А я как раз назначение получил на Черноморье, вечером уезжаю. Посмотрим, какая там волна и военная погодка,— в тон ему отвечал капитан.— Ждите, тоже дождетесь.

— Возьмите нас с собой! — выпалил с ходу Маврушин.— Очень вас просим, товарищ капитан!

Мы, конечно, в один голос его поддержали.

— И хотел бы, да не могу,— легкая усмешка тронула лицо летчика.— Сами понимаете, это все в штабе решают, на то он и штаб. Вы-то хоть в списках там обозначились?

— Каждый день свидетельствуем почтение старшим и младшим писарям,— иронически скривился Зверев.— Да все не впрок.

— Ну, желаю успеха.— Капитан двинулся было даль-

ше, потом вернулся к нам, стоявшим в нескольких шагах, и, глядя с испытующим прищуром, словно в нем шла какая-то внутренняя борьба, неожиданно спросил: — Денег у вас, конечно, нет?

Наши финансы действительно уже давно «пели романсы».

Павлов молча вынул нетолстую пачку и, подойдя, протянул пятьдесят рублей. Вручил их Феде и, ничего не объясняя, зашагал своим путем.

Мы с Маврушиным недоуменно смотрели на Зверева.

— С чего это он вдруг?

— Уж не знаю, с чего. Но факт налицо — пятьдесят рублей. Будем думать, товарищ Маврушин, думать. Сколько раз тебе говорил: способность мыслить — главное отличие человека. «Homo sapiens» — человек разумный, вот ведь к какому роду ты принадлежишь. А значит, должен соображать, что пятьдесят — это, грубо определяя, сорок семь целых и пять десятых. Ясно?

На полках всех саранских магазинов той осенью был представлен один-единственный вид алкогольных напитков — «Советское шампанское» по цене 47 руб. 50 коп. за бутылку. В ближайшей торговой точке наш «дар судьбы», как назвал его Федя, был материализован в виде именно этой бутылки. Спрятав ее под полку, он подмигнул, будто приглашая к приятному продолжению:

— А теперь дуем прямо в штаб!

— Хватит тебе, Федя, шутить, — беззлобно отозвался Маврушин. — Идем в столовую, скоро обед, там и выпьем.

Зверев, однако, привел нас действительно в штаб. Вернее, в ту его часть, которая называлась «общей», где властвовали писаря и куда людям военным можно было свободно войти. Но на сей раз он попросил, чтобы мы подождали у дверей:

— Мне надо исполнить небольшую интермедию, публика может испортить впечатление...

Федор, убежден, был прирожденным артистом, и, останься живым этот рабочий парень из Средней России, с берегов Волги, думаю, стал бы он действительно актером после войны. Окончив школьное учение, Зверев пошел на завод — юность выпала совсем не легкой, но в свои неполные двадцать лет он был начитанным эрудитом, по-настоящему интеллигентным человеком. Лицо с высоким лбом под русыми вьющимися волосами и серыми глазами дышало благородством. При среднем росте при-

рода наделила его недюжинной силой, хотя она не угадывалась в тонкой фигуре, женственных руках; смелости и ловкости тоже было не занимать. А как сходилась с людьми — после первого слова, быстрого доброжелательного взгляда все чувствовали себя с ним легко, свободно, будто с давно знакомым. Умел вести разговор со старшими по званию или должности — и дистанцию соблюсти, и достоинство не уронить...

— Жаль, уплыла бутылочка,— вздохнул Маврушин, когда мы остались вдвоем.— Вот посмотришь, ничего путного из этого не получится.

Теперь Федина затея прояснилась, и мне тоже она представилась легкомысленной и, пожалуй, даже постыдной: «блат» никак не вязался с тем великим, святым и тревожным, чем была для нас война. У меня бы никогда духа не хватило пойти с бутылкой искать себе такое преимущество — отправку в действующую часть. Но, видимо, Зверев смотрел на вещи проще, реалистичнее. Думаю еще, что в самом его характере была особо сработавшая здесь черта — та упрямая настырность, которая заставляет порой человека ухватиться за любое, даже призрачное средство, если по-другому не получается.

...Против ожидания вышел он с довольной улыбкой, однако рассказывать ничего не стал, выцедив лишь скупую фразу:

— Сыграно, как по нотам в оркестре.

Тогда посчитал: опять мне повезло. Появился рядом замечательный парень — Федя, да и писарь, видать, оказался хорошим человеком, снизошел к нашей просьбе. Но, возвращаясь мыслями назад, давно уже понял, что это «повезло» правильнее отнести к той обстановке неразберихи, которая на первых порах сопутствовала сложному делу реформирования — ни запасных авиаполков, ЗАПов, ни вообще, по-моему, какой-либо системы в этом еще не было.

Дальнейшие события не заставили себя ждать. Через день было объявлено, что группа летчиков и механиков получает назначение в новую часть. И среди других зачитали наши три фамилии. Значит, прощай, холодный и негостеприимный Саранск, едем? Но куда?

Это выяснилось сразу же — на Северный Кавказ, в Моздок. Всезнающая молва установила, что туда переведено Ейское училище морской авиации и там мы получим боевые самолеты, стало быть — на Черноморский флот.

Добираться предстояло через Сталинград — Тихорецкую со множеством пересадок, самостоятельно, и документы выправили для каждого 4—5 человек отдельно, в них и указывалось: «Моздок». А устно, инструктируя отъезжающих, добавляли: «Собираетесь вместе на станции Прохладное, там вас ждут. Главное — добраться дружно и побыстрее!»

Легко сказать — побыстрее: осенью 1941-го поезда шли нерегулярно, прямого сообщения не было, и мы сутками ждали на станциях, без конца ругаясь со службами военных комендантов, подсаживались «по слухам» и, случалось, особенно ночью, ошибались — забирали в сторону, так что приходилось возвращаться. Ехали, то поднимаясь на тендер паровоза, то устраиваясь на площадке товарняка, то вламываясь в теплушки эвакуируемых. А на последнем перегоне пришлось воспользоваться даже тюремным вагоном с решетками на окнах, благо он был наполовину пустым. Так и прибыли в Прохладное — словно арестанты, появившись под конвоем.

— Вот такого еще не было, — заметил встречавший нас лейтенант. — Могли бы и поскорее на этом привилегированном транспорте!

Мы, однако, оказались не последними, хотя провели в дороге целую неделю. Лишь на следующий день, более или менее собравшись, вся наша группа сумела отправиться в Моздок, где давно уже ее ждали. Пункт назначения был близок, надежда получить самолеты и вернуться на фронт обретала, казалось, реальные очертания. Но жизнь круто развела нас с этими планами.

Да, в Моздок перебазировалось знаменитое Ейское училище, более того — истребители, приспособленные из учебных, в самом деле были там приготовлены. Однако пока мы добирались до Саранска, их перехватили для пополнения действующих флотских частей: боевых машин поступало так мало, а Черноморье полыхало огнем жестоких сражений — уже не только под Одессой, но и в Крыму...

Впервые после долгого перерыва в Моздоке удалось прочитать газету. В сообщении Совинформбюро говорилось: «...Положение на Западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали оборону». Хотя и немного довелось еще понюхать пороху, легко было понять, что это означает: не помнил, чтобы слова «ухудшилось»

и «прорвали оборону» встречались в сводках с начала войны.

Мы краем глаза увидели военную Москву, мы верили в Москву, но тем горше было в такое время снова оставаться в глубоком тылу.

— Эскадрилья, как говорится, не смогла вылететь по двадцати причинам,— резюмировал Федя Зверев.— Во-первых, не было самолетов...



### И «МАЛЕНЬКИЕ» ВОЮЮТ...

**Р**ано утром 1 мая 1942 года на училищном аэродроме в Моздоке, в дальней стороне широкого летного поля, было оживленно, как случалось до войны на авиационных праздниках. Вдоль наскоро разбитой линейки выстроились длинным рядом УТ-1 — самые маленькие учебно-тренировочные самолеты нашего воздушного флота. Уже пригревавшее солнце скользило по свежему гляncу зеленого перкаля на коротких, округлых плоскостях. Самолеты казались игрушечными рядом с монументальным транспортным «дугласом», а еще и потому, что вокруг сновали люди: поднимая руку, человек был выше УТ; подойдя к нему, легко заносил хвост в сторону.

— Это что же такое будет, не парад ли Первомайский «комариной авиации»? — с нарочитым удивлением спросил меня шофер подъехавшего бензозаправщика.

Отвечать совсем не хотелось: мы и сами не были



уверены, что получится из этой затеи. Но шофер продолжал задирается:

— Стало быть, заливать под пробку? Чтобы прямо с парада — на Берлин?.. Ну, молодцы, морячки, устрашите Гитлера!

— Т-сс,— вылезая из-под крыла, прижал палец к губам Зверев.— Видишь, специально для него секретное оружие прилаживаем. Военная тайна! Давай, лей свой бензин и смотри не болтай языком...

Никакого парада, конечно, не предполагалось и «секретного оружия» не было. Мы переоборудовали УТ-1 для войны: каждый самолетик оснащали двумя пулеметами ШКАС, смонтированными прямо на плоскостях, а снизу — спаренными пусковыми установками для реактивных снарядов РС-82, «катюш» в миниатюре. Смогут ли «утята» воевать, как их использовать — этого не знал еще никто: такого опыта не было.

Со стороны (недаром иронизировал шофер) наша «воздушная армада» выглядела, пожалуй, карикатурно, особенно если учесть, что получила она вполне солидное штатное наименование «46-й штурмовой авиационный полк ВВС Черноморского флота». И, вероятно, не я один вздыхал про себя, сравнивая эти маленькие самолеты с теми боевыми и мощными, на которых начинали войну и о которых еще в июне пели, переиначив слова о танкистах на свой манер: «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный полет...» Тут стали и в помине не было, а «гремящий» огонь был, прямо скажем, жидковат для серьезного боя. Однако другой техники ждать пока не приходилось. Обидно, но что поделаешь? Хорошо, хоть остается позади вынужденное зимнее безделье, снова отправимся на фронт.

...После того как собранная наскоро в Саранске наша отдельная истребительная эскадрилья из-за долгого перебазирования в Моздок «проворонила» материальную часть, которая ей предназначалась, так и осталась она «безлошадной». К концу осени всех летчиков и техников переправили в небольшой совхозный поселок — километрах в шестидесяти от города, где несостоявшаяся эскадрилья прочно «стала на якорь». Разместились, как пришлось; поселок — всего десятка два низких саманных домиков, словно табун, сгрудившийся в открытой ветрам голой степи, — дальнейшее отделение хозяйства. В расчете на будущие самолеты разбили и оборудовали здесь скромный полевой аэродром, ходили в караул охранять

свое небогатое военное имущество, в другие наряды, изучали по разным пособиям авиационную технику — словом, несли постылую тыловую службу.

Думы наши были, понятно, на фронте, откуда жадно ловили новые вести, все обострявшие жгучее чувство нетерпения: когда, наконец, пробьет наш час и эскадрилья получит боевые машины? Зима пала ранняя, снежная, лютая. С каждым днем мы сильнее переживали, что отрезаны, словно забыты в этом белом тихом уголке, таком далеком от всего, что происходило на терзаемой войной родной земле...

Победа под Москвой, первая и особенно долгожданная, еще обострила это жгучее нетерпение.

— Теперь уж точно война покатится назад, — как о свершившемся факте говорил обычно молчаливый Маврушин, — теперь и о нас вспомнят! Надо готовиться, пора.

— Ты, конечно, уже придумал что-нибудь гениальное? — ухмыльнулся Федя. — Пожалуйста, не таи. Как прикажете готовиться? Завтра придут самолеты?..

— Да не о том я — себя готовить надо, вот что. Думаю, может, закаляться? Лед на пруду стал, сделаем прорубь. У нас в деревне многие мужики, чтобы силу набрать, зимой купались.

— Силу, да будет тебе известно, друг Маврушин, дает не купанье, а полный живот. Тебя, между прочим, бог и так не обидел силою. А вот нам двоим, считаю, перед фронтовыми передрягами не лишне организовать себе доппаек. Я тут уже с одной бабкой потолковал — она корову держит, куры у нее, то да се. И не очень дорого будет...

Вскоре выяснилось, что заинтересованность Феди в дополнительном питании вызвана отнюдь не объявленным желанием «подкрепить силы», а возможностью наведаться к дочери этой хозяйки. Так что едва мы завершали трапезу, проглотив по пятку сырых яиц и кринке молока, он переходил в горницу, подсаживался к девушке, с которой быстро нашел общий язык. Девушка мне тоже очень нравилась, и тем обиднее было оставаться «третьим лишним»...

Под Новый, 1942 год мне исполнилось девятнадцать лет. Отметил эту дату тем, что первый раз побрился: черный волос пробивался кое-где уже заметно. Накануне сосед — моторист Максименко, уезжавший с группой на заготовку дров, подарил мне зеркальце, очень кстати. Пристроил я его на спинке нашей двухъярусной койки,

которые впритык занимали все пространство в маленькой комнатке саманного дома. Из зеркала на меня глядело худое лицо — привычное и чем-то неуловимо новое, незнакомое. Кожа туго натянулась (и допаяк не помог!), заметно прорезались морщинки на лбу, собрались мелкой сеткой у глаз, резко проступили очертания рта — выходит, не просто было шагнуть из беззаботной юности в суровую военную жизнь. А что будет дальше, каким станет этот наступающий год и удастся ли встретить следующий?

Мы все надеялись тогда на скорую отправку в действующие части, а пробыли, вернее сказать — промучились, в авиационном резерве до самой весны. В апреле на фронтах установилось затишье, но чувствовалось, что это затишье перед бурей. Оно казалось противоестественным после нашего успешного зимнего наступления, все ждали его продолжения. Строили планы, какие самолеты дадут, наконец, эскадрилье — новые «Яки» — истребители или штурмовики Ил-2, про которые ходило особенно много разговоров: газеты называли их «летающими танками», а немцы — «черной смертью».

Однако, словно злой насмешкой над этими планами, пришло известие: на базе нашей запасной отдельной эскадрильи создается полк, который получит... мирные, тихоходные, маленькие УТ-1, собранные из разных училищ. И, точно новобранцев одеть в военную форму, их надо еще оснастить для войны. Сначала разочарованию не было предела — стоило так долго ждать, прямо по пословице: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».

Надвигалось второе лето войны. В преддверии решающих сражений страна собирала всю мощь, какую только возможно. Наша промышленность, перемещенная на Урал и в Сибирь, еще не могла развернуться полностью и насытить авиацию новыми машинами, а времени для ожидания их уже не оставалось. Вот почему понадобилось стягивать из морских училищ в Моздок самые малые тренировочные самолеты.

Горячая работа, в которую мы втянулись — закончить установку вооружения на «утятах» надо было за несколько дней, — вскоре погасила остроту разочарования. Мне очень кстати вспомнилось, что в Музее революции, возле которого жил в Москве и куда любил ходить с ребятами, был выставлен пулемет, сделанный почти целиком из дерева дальневосточными партизанами во время гражданской войны. И ничего — стрелял. Чем черт не шутит, может, наши «маленькие» в самом деле пригодятся

на фронте. Ведь и чашу наполняет лишь последняя капля!

Испытательные полеты прошли успешно, и сразу после Первой эскадрильи УТ-1, одна за другой, порулили к стартовой черте Моздокского аэродрома, поднимая облака пыли, точно расставляя дымовую завесу, которая отделяла нас от долгой, опостылевшей тыловой жизни. А мы, механики, мотористы и вооруженцы, наскоро собрав легкие пожитки, отправились на железнодорожный вокзал, чтобы выехать к Азовскому морю, куда получил направление полк. По улице, навстречу нам шел строй курсантов, и их песня напутствовала всех, кто готовился в эту предлетнюю пору к новым сражениям: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...»

Близ Ейска, разместившись вдоль большого абрикосового сада, под деревья которого закатывали самолеты, стали отрабатывать взаимодействие в ночных условиях. А потом начались и боевые вылеты. Весело помигав в воздухе консольными огнями, «утята» ныряли в темноту над морем, к которому скатывался за садом высокий обрыв, и бесследно растворялись в этой темноте, чтобы там, на другом берегу Таганрогского залива, занятом гитлеровцами, ударить «эр-эсами» по причалам и судам, обстрелять артиллерийские позиции, скопления войск... Навстречу вспыхивали прожектора, били зенитки, но габариты «маленьких» — таким стал наш официальный позывной, — их маневренность и низкая скорость, на которую не была рассчитана вражеская система управления огнем, позволяли ускользать из самых, казалось бы, «мертвых» клещей. Если и попадали в самолеты осколки, пули, то чаще всего лишь решетили перкаль, а его ничего не стоило заклеить по возвращении.

Потерь было сравнительно мало, однако врагу полк досаждал ночными штурмовками изрядно — во всяком случае, спать не давал и раз за разом подробнее раскрывал сеть его противовоздушной обороны на самом южном участке фронта. И едва рассветало, «рамы» остервенело начинали разыскивать наш аэродром. Но густой старый сад ничем не выдавал своей тайны, всякое движение вдоль него с утра прекращалось, а легкие машины не оставляли следов на летном поле...

Так проходили дни и недели. Рос боевой счет «маленьких», хотя записывали в него уничтоженные огневые точки, плавсредства, танки врага осторожно — в конце концов недаром же говорят, что ночью все кошки серые.

Суше и жарче становилось лето, небо с утра пылало зноем. Раньше обычного созрели абрикосы в нашем саду. Но к той поре стало ясно, что, пожалуй, собирать их не придется: в войне произошел новый опасный поворот, и произошел он у нас, на Юге. Сначала из сводок Совинформбюро исчезла Керчь, освобожденная зимней лихой операцией флота. Потом, в конце июня, немцы прорвали фронт на Дону и покатались к Волге. А 4 июля наши войска оставили Севастополь — весть эта особенно ранила душу: Севастополь на флоте почитали черноморской столицей, и столько было связано героического, славного с его 250-дневной обороной, овейной еще и романтическим ореолом истории! Героического и вместе с тем глубоко личного для нас, воевавших на Черноморье. Пока Севастополь держался, отбивая штурм за штурмом, верилось, что и нам еще придется постоять за флотскую крепость — ближе никого уже почти и не было. Тем более что слышали: первая группа авиационных специалистов Балтики, отправленная в конце сентября 1941 года с той же станции под Тихвином, что и мы, но всего на день раньше, проследовала прямым курсом, не заезжая в Саранск, для пополнения штурмовых и истребительных эскадрилий Севастополя. И конечно, в зимнем тыловом затишьи не раз поминали тот самый злополучный «один день», который отвел от него нашу дорогу. А теперь, после падения Севастополя, когда ходило так много разговоров о трагической судьбе его последних защитников, погибших у мыса Херсонес в морских волнах или попавших в плен, — не могли не думать о товарищах, мысленно ставили себя рядом. Между прочим, именно тогда у черноморцев усилилось поветрие на разного рода «зароки»: носить бороду, усы или вообще не бриться, пока не вернемся туда, в Севастополь, не отомстим за товарищей. Я выбрал усы...

Что мы вернемся — верили; зимняя победа под Москвой эту веру крепила. Но когда?

В середине июля начались ожесточенные бои совсем близко от нас — на Ростовском направлении. Теперь ночами полк летал уже не через Таганрогский залив, а вдоль побережья, к устью Дона, где немцы пытались прорваться на степные просторы Кубани, открыть себе ворота на Кавказ. Ростов отстоять не удалось, в боевых документах к концу месяца замелькало новое — Краснодарское направление. Враг собрал здесь, в группе армий «А», действительно громадные силы: толь-

ко самолетов — до тысячи, почти в восемь раз больше, чем было наших. Линия фронта все сильнее прогибалась на юг, грозя оставить Азовское побережье отрезанным. И вскоре настала ночь, когда после боевых вылетов зазвучало такое знакомое по первым месяцам войны слово «перебазирование». Мы вновь были вынуждены отступить...

Полку назначили перелететь за Кубань и обосноваться неподалеку от станицы Крымской, чтобы помочь задержать немцев на пути к Черноморскому побережью. «Утята» поднялись на рассвете, наземные службы отправились заранее, а я попал в небольшую группу, которая готовила самолеты и выбиралась на последнем грузовике. Почти совсем так, как год назад в Беззаботном, и все же разница была огромная: хотя фронт подошел близко, но он держался, медленно сжимаясь под ударами противника. Мы ехали в тучах пыли по шоссе, где уже прокатился вал эвакуации беженцев, оставив после себя припорошенные этой густой пылью повозки, какое-то тряпье, костерища ночевок у дороги, подгорелые, оплавленные воронки немецких бомбежек, — так морская волна, схлынув, обнажает свои следы на песке. Немногочисленные войска двигались нам навстречу — шла подмога фронту...

Задерживаясь в станицах, чтобы глотнуть воды — сухо во рту от палящего зноя и пыли становилось так, что слюну было не проглотить, мы встречали скорбные, затаенно вопрошавшие взгляды, а от иного деда и слышали:

— Пейте, ешьте, берите, сынки, что хотите; все наше — это и ваше. Только не уходите, не оставляйте под германцем!

В станице, где остановились на короткий ночной час, девчонка лет восемнадцати, с которой я разговорился, потянула за собой:

— Пойдем, покажу, где живу...

И потом, на базу у яблони, жарко прижимаясь, шептала в слезах:

— Ох, лихо... Мать оставить не могу, больная она... А так боюсь фашистов...

Народная боль и горе, которые мы сполна ощутили на дороге отступления, с суровой военной определенностью прозвучали в приказе Наркома обороны № 227. Мы слушали этот приказ, памятный каждому, кто прошел через фронтовое лето 1942 года, близ хуторка, где полк расположился на новое базирование.

Роца, так кстати оказавшаяся здесь, укрыла под своей

сенью самолеты и большую палатку, разгороженную на «штаб» и «кубрики», хотя все спали, если удавалось поспать, прямо на воле, под кустами. Вот у этой-то палатки и собралась эскадрилья августовским утром, после боевых вылетов на поддержку оборонявшихся войск. До сих пор стоит перед глазами картина: сияющее, точно начищенное, солнце и ясная голубизна неба над верхушками деревьев, безмолвно парящие коршуны в вышине и такие далекие от этого, отрешенные, строгие лица людей, которые внимают тяжело падающим в грозную тишину набатным словам.

«Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Пора кончать отступление!..»

Думаю, каждый, кто это слышал, был готов сражаться, как требовал приказ, — «до последней возможности», и, если придется, навсегда остаться хоть тут, у рощи, на горячем кусочке родной земли. Но приказы не устанавливают логику войны, они ее лишь проясняют. Враг наступал, бросая в бой все новые силы, и, хотя сопротивление советских войск возрастало, продолжал их теснить. Захватив Краснодар, танковые дивизии гитлеровцев форсировали реку Кубань. И нашему полку по распоряжению командования пришлось оставить полюбившийся хуторок, чтобы снова перелететь южнее — в Гайдук, местечко перед самым Новороссийском. Именно сюда, к Черноморскому побережью, фашисты направляли теперь свои удары.

...Небольшой аэродром в Гайдуке занял поле, примыкающее к полотну железной дороги Краснодар — Новороссийск. Прямо за ней поднималась горная цепь; на густо зеленой внизу ближайшей горе открывались у верхнего гребня каменные проплешины, похожие на причудливые изваяния — словно это атланты поддерживали его.

— Вот, пожалуйста, и ориентиры — лучше не придумаешь, — заметил кто-то из летчиков.

— Будут тебе ориентиры, когда ночью покрутишься у этой горы, — отвечал другой. — Чтоб, если зацепишься, знал, куда упал.

Условия полетов оказались здесь действительно сложными. И уже следующим вечером, в сумерках, мы стали свидетелями, как на взлете — а он был возможен лишь в одном направлении — скапотировал, ударившись о верхушку кустов, истребитель МиГ-1. Стоянка нашей эскадрильи оказалась неподалеку, и вместе с другими я бросился к разом вспыхнувшему на этом месте костру, чтобы

помочь летчику, если он жив. Оставалось добежать совсем немного, когда там, в огненной гуще, начали резкими хлопками рваться снаряды и патроны. Едва успел, падая, прижаться к земле, обвалом ударил в уши грохот взрыва, осветившего все вокруг мгновенной вспышкой...

Трудно спорить с тем, что потери на войне неизбежны, принимая эту неизбежность вообще. Но каждая конкретная смерть больно ранит, даже если погибший совсем незнаком. Твой кровный брат, солдат войны, он ушел, а завтра может быть твой черед — эти мысли неосознанно наплывают, когда видишь смерть рядом, даже такую расточительно нелепую.

Силой взрыва мотор истребителя был отброшен прямо к щели, вырытой у нашей палатки.

— Плохая примета,— зло пнул ногой искореженный металл механик по вооружению Саша Болотин.— Эх, судьба...

— Думаешь, мотор подвел?

— Может, мотор, может, летчик не вытянул — разбег-то для МиГа короток; кто об этом теперь узнает? Но я не о том — для нас плохая примета, нам здесь начинать, и этот МиГ, если хочешь, хуже черной кошки на дороге: предупреждение!

— Ну, хватил! Да ты, выходит, суеверный.

— Хотите слушайте, хотите нет, а чую: этот Гайдук нам себя еще покажет...

Вопреки мрачной примете боевая работа полка и на новом месте пошла в общем-то успешно. УТ-1 — не скоростной истребитель, ему не нужен длинный разбег, а наши уже умудренные опытом летчики, еще в Приазовье неплохо освоившись в ночных условиях, почти не сбивались с маршрутов, да и горы научились «видеть», как говорится, шестым чувством. Все шло по уже испытанному порядку: целую ночь полеты, с рассветом — затишье; вернее — видимость затишья, потому что за день надо было отремонтировать самолеты, привести в порядок моторы и вооружение, подготовить все для следующей ночной страды, но ничем себя не обнаружить. Правда, аэродром наш немцы знали и не раз бомбили, однако каждый налет заходили на другую его сторону, у железной дороги, где были устроены ложные капониры. На стоянку эскадрильи падали лишь случайные бомбы, да и то чаще — за ней, на поле со спелыми помидорами, куда мы в редко выпадавшие свободные минуты бегали подкормиться.



Впрочем, «подкормиться» — не то слово. Здесь, на случайном прифронтовом аэродроме, где всего не хватало, перебои снабжения с каждым днем ощущались сильнее, и скоро томатное поле стало для технического состава чуть ли не основным источником питания. До сих пор не могу есть помидоры...

В первых числах сентября положение на южном участке фронта ухудшилось — враг повел наступление от Краснодара к Тоннельной и Новороссийску. Мы почувствовали это по активности его авиации. Но господству гитлеровцев в воздухе противопоставить было нечего: кроме «утят», в строю на Гайдукском аэродроме оставалось лишь несколько истребителей. Зарницы боя на севере померкли в зареве пожаров Новороссийска. Вечером 4 или 5 сентября группе «юнкерсов» удалось накрыть бомбами большой склад боеприпасов, располагавшийся у железнодорожного кольца в преддверии города. И всю ночь полк летал под непрерывный грохот доносившихся оттуда взрывов, казалось, там горело само небо, высвечивая мрачную громаду гор...

Потом враг прорвался через перевалы у Тоннельной и оказался уже совсем близко от нас. Пришлось поднять самолеты засветло — в помощь частям, пытавшимся заткнуть прорыв. Этот массивный удар стоил полку трех «утят», сбитых огнем с танков. Едва стемнело, мы подготовили новый вылет, но тут воздушная разведка выявила, что ситуация еще более усложнилась. Помимо танковой колонны, наступавшей вдоль железной дороги, вторая группа танков повернула от Тоннельной ущельем, которое могло вывести их к побережью у Кабардинки, на полпути между Новороссийском и Геленджиком, в тыл нашим оборонявшимся войскам. Над всей группировкой, которая защищала Новороссийск и выход к морю, нависла угроза глубокого окружения. А частей, способных быстро выдвинуться на новое направление, во всей округе, видимо, не было.

В тот критический час на наш аэродром сел незнакомый самолет. Едва он зарулил на стоянку, несколько офицеров, выпрыгнув на землю и осторожно подсвечивая себе фонариком, направились мимо нас к штабу полка. Скоро от одного к другому разнеслась весть:

— Это прилетел сам Жаворонков!

— К нам, тот самый?

— Говорят, точно он...

Имя генерала Семена Федоровича Жаворонкова

морские авиаторы знали. Старый коммунист, участник гражданской войны, в свое время и комиссар, он перед Великой Отечественной возглавил Военно-Воздушные Силы всего флота. Ему сопутствовала репутация волевого, строгого, но и уважительного к людям, заботливого командующего. В 1941-м именно Жаворонков руководил на Эзеле организацией первых авиационных ударов по Берлину. Но это происходило вдалеке, а сейчас трудно было представить себе, как командующий, который по нашим представлениям должен находиться в Москве, оказался вдруг в эту ночь здесь, в Гайдуке, причем в самый нужный и ответственный момент, когда стали вроде бы неотвратимыми расходившиеся, будто лезвия ножниц, танковые удары врага, нацеленные к побережью.

Но что можно сделать против танков, которые идут там, за хребтом, по открытому, без заслонов ущелью в тыл фронта?

Познакомившись с положением, командующий приказал нашему полку блокировать, закупорить это ущелье с воздуха: непрерывно, самолет за самолетом, обстреливать реактивными снарядами его самое узкое место, где скалы стискивают проход, — оно было как раз за «нашей» горой.

Эта ночь многократно ускорила боевой аэродромный «круговорот», такого предельного темпа работы еще никогда не было. «Утята» поднимались группами, сменяя друг друга, и сразу ложились на боевой курс: переваливая через гору, становились в круг и методично, словно на полигоне, атаковали ущелье. Счет времени шел буквально на секунды. Возвратившись, летчики не вылезали из кабин: мы тут же устанавливали новые «эр-эсы», пополняли боезапас пулеметов, через рейс заливали бензин — и снова на взлет, туда, откуда доносилось монотонно размеренное эхо разрывов.

— Как белки в колесе, — бросил мне перед очередным вылетом командир звена младший лейтенант Попков. — А надо бы еще быстрее. Вон рядом самолет уже ждет...

«При чем тут белки?» Охваченный общим порывом боевого азарта, я даже не мог воспринять поговорку, она просто не шла на ум.

После полуночи началась эвакуация наземных служб полка — танковая колонна немцев, рвавшаяся от Тоннельной вдоль железной дороги, приближалась к Гайдуку. На аэродроме оставались лишь те, кто непосредственно обеспечивал боевую работу. «Утята» продолжали безостанов-

вочно свои атаки в одном направлении — за гору, по ущелью, чтобы, как сказал командующий, «даже мышь не проскочила».

Исторические факты нельзя излагать в условном наклонении. И трудно гадать, как сложились бы дальнейшие события на самом южном участке фронта в 1942 году, если бы не этот авиационный заслон, который позволил, выиграв время, подтянуть артиллерию, чтобы ликвидировать угрозу танкового прорыва. Одно можно сказать: по-иному, гораздо хуже для нас. Вот когда окончательно подтвердилось, что идея вооружить для боевой работы УТ-1, пока не хватает других самолетов, — идея, представлявшаяся еще недавно весьма сомнительной, оправдала себя. На войне и «маленькие» могут, оказывается, делать погоду! Особенно, когда одна ночь решает так много.

Приближался рассвет, и темнота начала слегка редеть, как бы разбавленная серым. Мы продолжали свое дело, но тут поступила команда на последнюю заправку самолетов. Нанеся еще удар все по той же узости в ущелье, они должны были, уже не возвращаясь, лететь дальше — в Геленджик.

— Фашисты подходят к Гайдуку. Танки, — пригнув голову, тихо сказал командир звена, прежде чем запустить мотор, и голос его осекся, — вот-вот будут здесь. Эх, кабы машину хоть чуть побольше...

УТ-1 мог поднять только одного человека, и я понял, как трудно ему улетать, зная, что мы остаемся.

— Ну, держись... От винта... — Стараясь перекрыть таканье заработавшего двигателя, он прокричал: — До свиданья! В Геленджике... Слышишь, обязательно — я верю!..

Улетел последний самолет, и стоянка эскадрильи опустела, словно осиротела. Стали отчетливее звуки боя, который шел где-то за аэродромом, невидимый отсюда. С винтовками в руках мы собрались у оружейной палатки, и оказалось, что нас ровно тринадцать.

— Болотин, ты специалист по приметам. Как это хорошо или плохо — чертова дюжина? — не удержался Федя.

— Чуете? — не отвечая ему, встрепенулся механик. Бросился на колени, приложил ухо к земле. — Дрожит... Это танки идут, точно. Будут тебе, Зверев, шутки...

— Отставить пустые разговоры! — неожиданно слышалось за спиной. Мы разом повернулись — там стоял капитан в армейской форме с пистолетом и парой

гранат на поясе. — Я из штаба БАО<sup>1</sup>. Назначен командиром вашей группы. Будем выбираться отсюда вместе. А пока — быстро снять палатку, убрать с глаз долой ящики, замаскировать щели. Ну, дружно взялись...

Капитан сыграл большую роль в дальнейших событиях. Как жаль, что не могу привести и его фамилию. Может быть, он и назвался тогда, в первую минуту, но разве запомнишь, когда идут танки!

Темные тушки танков выплывали из серой дымки в дальнем углу аэродрома, останавливаясь и лениво постреливая, шли по железнодорожной насыпи и вдоль нее, шли вразвалку, как будто их несла и качала невидимая за деревьями река. Потом эта «река» иссякла, а где-то ближе к Новороссийску снова разгорелся бой, словно разбуженный наступившим утром.

Мы лежали в двух щелях, прикрытых ветками, осторожно поглядывая временами сквозь них на дорогу. Там — всего в 300—400 метрах от нас — продолжалось, то прерываясь, то начинаясь вновь, движение войск: гитлеровцы накапливали силы для штурма города. Даже головы не высунешь, оставалось ждать ночи, ждать и ждать. Потянулись томительные минуты, медленные-медленные. Чуть ли не вечность прошла, пока солнце поднялось, разогревая сыроватый воздух в щели. И тут, уже не знаю, как это случилось, я заснул — несмотря ни на что, под носом у немцев, устроив вместо подушки патронный ящик. Изнуряющая усталость последних суток пересилила чувство опасной незащищенности, наверное, так. А когда открыл глаза, было жарко, солнце клонилось к закату; в стороне Новороссийска по-прежнему гроыхало, пожалуй, стрельба там стала сильнее.

— Ничего не случилось? Или какие перемены?

— Посмотри на дорогу, да осторожнее — видишь, немец охранение выставил? Вон пулеметная точка за деревьями...

— Когда это успели?

— Подрыхай еще, и дот смогут построить.

Из соседней щели слышался суховатый, тоже приглушенный голос капитана:

— Это они нас боятся. Думают, кто из наших может с Тамани отходить. Вот и побаиваются, заслон выставили. У них сейчас одно на уме — Новороссийск. Не хотят распылять силы...

<sup>1</sup> Б А О — батальон аэродромного обслуживания — был в Гайдуке армейским.

«Собачий слух,— подумалось.— Даже наш шепот услышал. Видно, опытный он, этот капитан. Надо держаться к нему поближе».

— Дождемся ночи,— все так же рассудительно и спокойно, будто учитель в школьном классе, продолжал он.— Посмотрим, как действовать дальше.

Когда совсем стемнело, вспышки стрельбы в стороне города поутихли — похоже было, что бой там закончился; скорее всего, это означало, что Новороссийск врагу удалось занять. Капитан приказал готовиться к прорыву. Разделил всех на четыре группы, каждой указал направление — пробираться к железнодорожной насыпи, остановиться метрах в тридцати от нее, отдышаться и ждать сигнала. Он сам будет в центре, резким свистом подаст команду — вперед. Тут не зевать, разом броситься через железную дорогу, если придется, проложить путь огнем. И сразу — в гору, там кустарник, легко скрыться, только не останавливаться, изо всех сил — вверх и вверх. Соберемся, кто сумеет пройти, у больших камней седловины.

— Всего, конечно, не предусмотреть и не указать. Действуйте каждая группа по обстановке,— заключил капитан.— Главное, под пули зря не лезть. Помните Чапаева: «Она-то, дура, не разбирает, а ты соображать должен». Ну, с богом, да сами, как говорится, не плошайте...

От слов про Чапаева дохнуло чем-то далеким, когда мальчишками играли в «чапаевцев». Там все невозможное было просто.

...Мы медленно подползали к краю аэродромного поля, стараясь поглубже вжаться в сухую землю. Луна еще не взошла, темнота густо облепила все вокруг, но впереди, на железнодорожной насыпи, то слева, то справа раздавались автоматные очереди — наверное, немецкий патруль постреливал для собственного успокоения. Наконец рядом смутно проступил толстый ствол дерева — я чуть не уткнулся в него. Теперь можно перевести дух, затаиться и ждать. Доползли... Совсем неподалеку уже слышны шаги, кажется, уходят; порыв ветра доносит обрывки команды, слов не разобрать. И снова рассыпалась — на этот раз длинная — очередь, откуда стреляют, не заметно.

Лежу между корнями, привалившись боком к стволу, даже у такой опоры чувствуешь себя прочнее. С другой стороны дерева мои товарищи — нас в этой группе трое;

их не видно — не слышно, но я хорошо ощущаю, что мы вместе. А как остальные, где там капитан? Внутри все напряжено — скоро ли сигнал?

Мысленно представляю себе, как надо будет броситься вперед, навстречу неизвестности. Что на этих рельсах может кончиться жизнь — такое в голову не идет, после года войны со всеми его передрыгами сама собой отошла беспокойная дума, что смерть может бродить по твоим пятам. Как это говорил еще в Беззаботном Иван Бородин? «Хочешь жить — не бегай от смерти...» Лишь бы не ранило, только бы не остаться лежать на голом полотне дороги. Но, похоже, здесь, перед нами, сейчас никого нет, патруль прошел дальше. Или опять слышен перестук шагов по шпалам?

Сигнал, как ни ждали его, оказался внезапным — толкнул в спину негромкий, но требовательный свист. Разом вскочив на ноги, мы бросились к дороге с винтовками наперевес, будто нацеливаясь штыками в невидимого врага. Вперед!.. Но как же может, оказывается, растянуться мгновение! Короткие метры до насыпи вмещают в себя лихорадочную горячку бега и рвущийся из груди крик, распластавшую темень ракету, беспорядочное мелькание света и злые красные огоньки выстрелов, будто направленных только в тебя. Во рту сухо, сердце бьется резкими толчками. Но уже чувствую, как раступается плотная темная стена и я лечу через рельсы, полотно, насыпь... Слева начал бить пулемет, пули свистят вдогонку над головой, однако вот и спасительные кусты. Теперь — вверх, еще вверх, еще... Где же товарищи?

— Эй, ребята, кто здесь есть, отзовитесь!

На призыв молча, как будто лишь этого и ждал, выходит еще один из нашей маленькой группы, которая прорывалась крайней справа, а третьего и не слышно.

— Ты как, в порядке?

— Проскочил, вроде не зацепило.

Вглядываемся в темноту, через кусты смутно видна часть железнодорожного полотна и на нем — какое-то неясное движение; вот расплылось и пропало короткое облачко света, фонарик зажгли, что ли? Не сговариваясь, скидываем винтовки, расстреливаем по обойме, метаясь туда, где оно растаяло. И тут же близко с воем рвется мина. Еще разрыв — теперь выше. Обнаружили себя! Бежим в сторону, спотыкаясь и падая, ветки больно хлещут по лицу, однако сейчас не до этого — уйти бы подаль-

ше. Когда разрывы остаются за спиной, начинаем забирать обратно влево, к седловине. Дышать тяжело, пот заливает глаза, но мы упорно лезем вверх...

Добираемся наконец до каменной гряды, где-то здесь должны быть наши. Идем вдоль нее и скоро почти в упор натываемся на тихий, спокойный голос:

— Подходите сюда. Целы?

Капитан!.. Еще и суток нет, как мы впервые его увидели, даже имени не знаем, а чувство такое, что встречает нас родной и близкий человек. Хорошо, что он тоже прошел благополучно. А другие?

Приблизившись вплотную к большой скале, замечаю на земле несколько темных фигур. Все молчат, только Федя — его интонацию нельзя не признать — ухмыляется:

— Что, понравилось под обстрелом? В штаны не наложили?

— Шутки тут неуместны, — обрезал его капитан и повернулся к нам. — Это вы открыли огонь из кустов? — Просто удивительно, когда он успел сориентироваться. — Мальчишество это, риск совсем ненужный. Было ясно сказано: прокладывать путь оружием лишь при столкновении, а не после. Только подвергли опасности себя и других. Хорошо, если все обошлось...

Мы прождали около часа, за это время к месту сбора вышли еще двое. Теперь нас было одиннадцать вместе с капитаном; судьба троих оставалась неизвестной, и все же он распорядился выступить.

— За ночь надо спуститься и проскочить через ущелье. Сплошного фронта здесь быть не может, но пока не известно, куда продвинулись немцы, придется уклоняться, чтобы потом выйти к берегу подальше от Новороссийска.

Он снял тощий вещевой мешок, болтавшийся за спиной, вытащил оттуда буханку хлеба, разрезал. В темноте плохо видно, но мне показалось, он взял для себя самый маленький кусок.

— Подкрепимся перед дорогой, больше-то ничего у нас нет.

Капитан, видимо, знал горы и вел группу уверенно. Остаток ночи и еще целый день мы продирались через заросли, шагали то вверх, то вниз по узким тропам почти безостановочно, изредка делая краткие привалы возле ключа или ручья, чтобы утолить жажду. Хлеб кончился, есть было нечего, удавалось лишь, пока светло, срывать

на ходу спелые ягоды ежевики. К следующей ночи все выдохлись, пооборвалась о колючие кусты одежда, но наш командир, упорно не задерживаясь, продолжал путь. Опасался, что, если наступление гитлеровцев вдоль моря достигнет Геленджика, тогда и горы не помогут выбраться. А немецкие самолеты, которые мы замечали в стороне, шли, пожалуй, именно туда, к Геленджику.

..Позади еще один — который уже по счету! — трудный спуск в темноте, когда камни ускользают из-под ног и, чтобы не сорваться, надо орудовать винтовкой с примкнутым штыком как альпенштоком, и вот, наконец, оно — приморское шоссе. До моря, собственно, еще далеко, но так уж оно называется, другого здесь просто нет. Дорога совершенно пуста, тихо кругом. Асфальт сильно выбит, под ботинками шуршат проплешины грунта. Танки, что ли, его утюжили?

Ясно, что вышли мы за Кабардинкой, обогнув ее горной стороной. Но главное — где сейчас фронт, в чьем тылу оказались: у своих или у немцев? Капитан отрядил троих разведать ситуацию, и меня среди них.

— Держитесь шоссе, только осторожно. И далеко не забирайтесь. Даю вам полчаса, не больше.

Вскоре шоссе вывело нас к дому на небольшом пяточке под крутым склоном горы; наверное, это был дом дорожно-го обходчика. Подобрались вплотную, обошли кругом — внутри ни огонька, ни звука. Дверь заперта, может, притворена изнутри. Пощупали окна — стекла выбиты почти начисто, лишь у краев остались торчать осколки. Решили вдвоем залезть в дом, а третьему — прикрывать, если что...

Оконная рама подалась неожиданно легко, без стука опустили ее вниз, а перевернулись внутрь, подтянувшись, было делом минуты. Комната, в которую мы попали, была усыпана битым стеклом, какими-то разбросанными вещами, заставлена ящиками. Ощупью продвигаясь вдоль стен, наткнулся на приставленную лестницу, и тут вверху послышался шорох или вздох. Стал подниматься медленно, стараясь не стукнуть, — страшновато все-таки, хотя, конечно, гитлеровских солдат там быть никак не может. Дойди они сюда, зачем бы им прятаться на чердаке? Лестница уперлась в крышку люка. Собравшись с духом, рывком толкнул ее и до половины высунул через этот люк. В небольшое трехугольное окошко помещения едва заметно струился сероватый свет, достаточный все же, чтобы заметить людей, лежавших на полу впо-



валку. Прямо на меня, лицо в лицо, смотрел, чуть привстав, мужчина.

— Кто такие будете? — судорожно спросил я, втягивая на всякий случай в люк винтовку.

— Беженцы из Новороссийска... Заночевать здесь пришлось, а так-то дальше идем, от войны бежим.

Он хмыкнул, дескать, что спрашиваешь, и так ясно, но, покосившись на винтовку, продолжал:

— После бомбежки добрались сюда. По шоссе били, роды...

Это, похоже, правда: еще в горах, когда мы шли, слышали далеко впереди взрывы.

— ...Фашист, стало быть, шоссе бомбил. Пока пережидали внизу — куда идти, может, опять прилетит, — ночь и пала.

Вокруг зашевелились проснувшиеся люди.

— Где же, — спрашиваю, — немцев остановили, знаете?

Мужчина настороженно отодвинулся:

— Это как понимать, мил-человек: проверка или кто же ты будешь, уж не в бегах ли?

— Проверка, папаша. Выкладывай, что известно.

— Мы люди темные до военного дела. Как тебе сказать? Слышали вот в Кабардинке, что сразу за Новороссийском, у цементных заводов, его, гада, и остановили. Эдак, нет ли — тебе самому лучше знать.

Зря, выходит, кружила наша группа по горам, забираясь подальше. Зачем была такая перестраховка?

Когда, вернувшись, доложили капитану о том, что удалось выяснить, он сказал, словно отвечая на мое молчаливое недоумение:

— Что ж, если так, хорошо. Смогли, значит, быстро остановить. Но в нашем положении приходилось брать в расчет худший вариант — война научила. Мне же не за себя — за вас всех отвечать!..

Горный переход совсем нас измучил, теперь бы передохнуть. Но командир, проведя ладонью по осунувшемуся лицу и словно смахнув этим с него усталость, тут же распорядился:

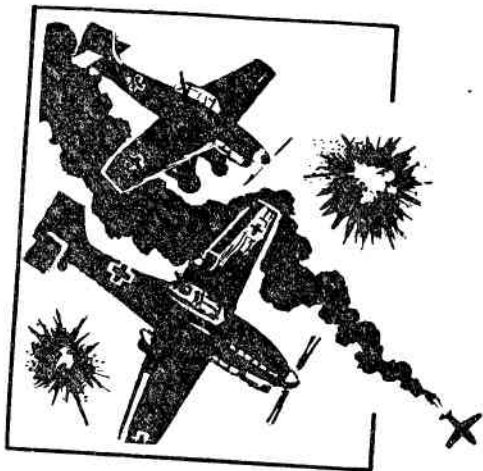
— Выступаем по шоссе к Геленджику. До него уже близко. Там нас ждут!

Пожалуй, именно тогда, рядом с капитаном, я впервые ощутил, сколь сложна и сурова доля командира, даже если под началом у него — лишь небольшая группа. Видеть дальше всех; как это он сказал? — «принимать

в расчет худший вариант»; да, всем бы такое взять за правило — неудач было бы меньше. И указать, самому проложить путь, разделяя со всеми его тяготы, но отстраняя от других страхи и сомнения, принимая ответственность только на себя. И, как бы ни устал, не расслабляясь, собрать в кулак волю, проявить, если надо, твердость. И снова идти впереди...

Утром, перед самым Геленджиком, мы разглядели справа от шоссе, на краю поля, приткнувшихся в молодой посадке «утят». Комок подкатил к горлу, как бывает, когда возвращаешься домой после долгой-долгой разлуки. Мы снова были у своих, в родном полку! Едва добрались до стоянки, попадали прямо на землю у первых машин; сил уже не оставалось — спать, только спать...

Капитан, единственный из нас, ушел дальше — у него была своя служба. Больше, к сожалению, встречать его мне не довелось. А запомнился на всю жизнь.



## ПРИЖАТЫЕ К МОРЮ

**К**аждые сутки войны были наполнены большими и малыми событиями, случайными совпадениями — порой даже не сопоставимые, они тем не менее оказывались связанными ее логикой.

Много лет спустя я прочитал, что 9 сентября, в тот самый день, когда мы вышли к новому месту базирования полка и, обессилев, свалились в мертвом сне, Гитлер сместил командующего немецкими войсками на Юге генерал-фельдмаршала Листа, который не сумел достичь поставленных целей. И, объявив, что будет лично управлять действиями своих кавказских армий, уже на следующий день, 10-го, в ставке «Вервольф» под Винницей отдал приказ немедленно продолжать наступление на Черноморское побережье.

Вскоре обстановка в нашей зоне фронта еще более осложнилась. Основной замысел врага, по-видимому,

состоял в том, чтобы пробиться через перевалы к Туапсе и отрезать всю группу советских войск под Новороссийском. Теперь одним из форпостов защитников побережья становился Геленджик.

Я помнил этот маленький курорт у полукруглой бухты, зажатой, как клещами, Толстым мысом и Тонким мысом, по впечатлениям детства — ездили туда однажды летом с родителями, — помнил лениво утопающим в солнечной неге. Геленджик 1942 года никак не накладывался на кальку этих воспоминаний. Собственно, городок мы и не видели — почти все население отсюда эвакуировали, аэродром находился западнее его — между шоссе и бухтой; катерники, подводники, морская пехота тоже базировались поодаль на берегу.

База... С этим словом обычно на флоте связывают представление о надежно отлаженной службе тыла, законном отдыхе после походов или полетов, возможностях прочного «земного» быта. Если не считать, что в Геленджикской базе мы смогли после долгого перерыва помыться наконец в бане и прожарить в санпропускнике одежду — против вшей даже едкий авиационный бензин плохо помогал, лишь обжигал кожу, — то в остальном все здесь противоречило таким представлениям. Аэродром, причалы, оборонительные сооружения пришлось создавать почти с нуля, в кратчайшие сроки. И строить капониры, рыть щели и землянки в каменистой, неподдающейся почве, о которую, точно о скалу, гнулись лопаты. Причем делать все это под частыми бомбежками.

Зенитный зонтик Геленджика был еще слабым, — у гитлеровцев оставалось полное преимущество в воздухе, — и они бесчинствовали в прозрачно-светлом, как нарочно, безоблачном небе. Вместе с бомбами сбрасывали порой куски рельсов, какие-то колеса, а в один из вечеров на нашу самолетную стоянку с шипящим свистом грохнулась железная бочка от бензина, на смятом боку которой можно было прочитать написанное корявыми буквами: «Рус буль-буль».

— Что это, бомб им не подвезли или, может, затоварились лишней тарой, складывать уже некуда? — иронизировал в своей обычной манере Федя.

— На твою психику немец специально действует, издевается, — отвечал в тон ему Алексей Попков. — Дескать, начнет товарищ Зверев ставить всякие глупые вопросы себе и другим да и придет к мысли: куда, мол, деваться, кроме как лезть в море или сдаваться, если фашисту для

такого случая даже бомбы жалко, бочкой рассчитывает задавить...

Тонкая нить побережья, окольцованная горами, связывала нас со страной, со всем протянувшимся через нее громадным фронтом, словно пуповина, соединяющая ребенка с матерью. Удастся врагу прервать эту нить у Туапсе или где-нибудь еще — и Геленджик окажется полностью отрезанным. Но хотя угроза была близкой, затаенных сомнений в превратностях завтрашнего дня, что приходилось все же видеть год назад, первой военной осенью, теперь не возникало — так я ощущал. После Ленинграда, Севастополя да и собственного пережитого окрепла та внутренняя жесткость, которая поддерживала веру: сумеем выдержать! Эту веру питали и события в Сталинграде, за которыми все следили, хорошо представляя, какой стойкостью, какой кровью держатся защитники разрушенного города, прикрывая кромку земли у Волги.

Туапсе, рассказывали выезжавшие в тыл, тоже был совершенно разрушен бомбежками. И у нас, в Геленджике, они становились все массивнее, росли потери — горели самолеты, появились убитые и раненые. Одним из первых погиб командир звена Попков. Вот ведь как бывает: свершил десятки боевых вылетов, в которых противнику ни разу даже серьезно подбить его самолет не удалось, а тут погиб от разрыва бомбы, погиб на своем аэродроме, самым нелепым образом.

Наша единственная столовая — большая палатка с врытыми внутри и рядом длинными рядами столов из наскоро обструганных досок — была расположена на нижнем, дальнем краю аэродрома, в негустой рощице. Наверное, командование батальона обслуживания посчитало, что удобнее кормить всех в одном месте да еще и поближе к тылам базы. Пробираешься ли, бывало, в столовую северным краем аэродрома, по кустам, или южным — через виноградники, клянешь почему зря базовое начальство. Как ни торопись — около получаса уходит на дорогу, а если бомбежка?.. Допускаю, что тогда в Геленджике и на самом деле трудно было сразу наладить тыловую службу, но война скидок не дает, предъявляя и тут свой суровый счет.

Попков с двумя летчиками эскадрильи как раз шли обедать, когда услышали знакомое: «И-у, и-у...» — что это, «юнкерс»? Остановились за кустом посмотреть. Верно: Ю-88 вынырнул совсем близко на небольшой высоте. С че-

го бы он так необычно — один-одинешенек, без сопровождения пожаловал? Для разведчика летит низко, возможно, поврежден и возвращается? Не успели подумать, проводить взглядом, а самолет сбросил бомбу, тоже единственную. Разрыв ее пришелся довольно далеко, даже горячей волной от взрыва не дохнуло. Двое как стояли, так и остались стоять, но Попков упал подкошенным. Крохотный, меньше ногтя на мизинце, осколок попал ему прямо в висок, сразив насмерть.

Мы теряли летчиков и раньше — их сбивали в воздухе, они падали на изрешеченных машинах за линией фронта или в море, про иных нельзя было сказать ничего определенного, ждали — может, вернутся? Впервые, пожалуй, эскадрилья хоронила летчика по законам воинского ритуала. У могилы говорили короткие прощальные слова, говорили каждый свое, от сердца, общим было для всех обещание: отомстим! А у меня слов не было; я смотрел неотрывно на знакомое молодое лицо, спокойное и, пожалуй, даже удивленное — или мне так казалось? — и перед глазами вставало совсем недавнее. Вот он после вылета выбирается из кабины, устало горбится, вытирается платком; мы встречаемся близкими взглядами, и я ловлю его довольную улыбку, испытывая сложное чувство уважения и зависти; вот он перед отлетом из Гайдука поворачивается ко мне, повторяя: «До свиданья в Геленджике... Обязательно...» А над могилой уже звучит нестройный залп...

...Каждую ночь, как и прежде, «утята» выруливали из укрытий, чтобы подняться навстречу звездам, усыпавшим темное небо. Наносили удары по позициям врага у Новороссийска, где южный фланг фронта окончательно застопорился, словно война истощила здесь свою энергию, по северному берегу Цемесской бухты или скоплениям мелких плавсредств в порту, а то и по более дальним целям, которые обнаруживала днем авиационная разведка. С рассветом на нашем краю аэродрома жизнь утихла, вернее сказать — замирала внешне, уходила в тень, к замаскированным самолетам; их готовили к новой боевой ночи. И если полк действительно не давал спать врагу, то и нас самих изматывал этот почти безостановочный круговорот под аккомпанемент частых бомбежек.

Погода стояла сухая, все еще жаркая, земля пылила под ногами, неглубокие, обложенные известняком колодцы у виноградника для сбора дождевой воды совсем пересохли, и мы ходили в столовую только этой стороной —

если над головой появлялись «юнкерсы» или «мессеры», здесь легко было укрыться. В начале октября, возвращаясь к стоянке, я тоже попал тут под налет: девятка Ю-87 клином заходила прямо на эту часть аэродрома. Едва успел прыгнуть в колодец, где уже оказался кто-то еще, как они, резко поворачивая через крыло, стали один за другим с воем сваливаться в пике, будто нацеливаясь прямо в нас. На мгновение тень самолета, низко выходявшего из пикирования, надвинулась на колодец, закрыв солнце, и почти сразу пыхнуло жаром, как из огнедышащей печи, перехватило дыхание и разом, обрывая все, навалилась глухая темнота.

...Когда я очнулся и приоткрыл глаза, солнце ослепило — не светом, нет, ясным сознанием: жив! На мгновение счастье жизни пришло из детства в образе светлой поляны среди сосен и рядом — рыжиков в прогретой траве. Какая поляна, какие рыжики? Надо мной склонились чьи-то лица, их губы шевелились безмолвно — я ничего не слышал. Слева в двух шагах лежало неподвижное тело, закрытое моторным чехлом, из-под брезента высывались только ботинки. Кругом были разбросаны комья земли, вывороченные камни. Где, где же я их видел, эти большие, грубые, густо покрытые пылью ботинки? Как из тумана, смутно возвращалась память. И вдруг, будто прорезанное ярким лучом — ну, конечно же, видел, прыгая в яму, на ногах того, кто в ней уже был!

Бомба, разорвавшаяся рядом, сплющила колодец, словно пустую консервную банку, и погребла нас в сдвинутой взрывом земляной толще. Когда, перепахав кромку летного поля у виноградника, «юнкерсы» ушли, прятавшиеся в соседнем колодце побежали на ближайшую стоянку истребительной эскадрильи, и нас сразу же стали откапывать. Меня вытащили живым, а второй — моторист этой эскадрильи — был раздавлен при взрыве, ему камнем из кладки разможило голову.

...В санчасти я понемножку пришел в себя. Все тело ныло, каждая его клеточка. Но военврач определил, что переломов и серьезных повреждений нет — контузия. Звон в ушах утих, отошел куда-то вдаль, точно их заложили плотной ватой. И уже мог с трудом разобрать слова; это говорил врач:

— Можешь считать, везучий ты, счастливо отделался. Посмотрел на тот свет и вернулся без потерь, если синяков не считать. Побудь здесь пока, скоро совсем отойдешь. Теперь жить не торопись, а умирать тем более...

Отвечать, благодарить не осталось сил — даже не физических, хотя язык, кажется, еще плохо повиновался, а других, внутренних. Мною владела глубокая усталость. Закрыв глаза, но все равно, кажется, видел те запыленные ботинки, высунувшиеся из-под брезента: остальное отошло, не существовало... Мы с тем парнем были в колоде совсем рядом, касаясь друг друга; на его месте у разрытой ямы, откуда вытащили обоих, вполне мог лежать и я, так же, как он мог оказаться сейчас вместо меня здесь, на чистой койке под одеялом. Что это — судьба? Почему на долю одних приходятся счастливые случайности, а для других те же случайности — уже несчастные? По каким законам судьба тасует жизни и смерти?

Вечером меня отпустили из санчасти со строгим предписанием спокойно полежать несколько дней. Странно звучал этот отголосок мирной поры. В наскоро вырытых тесных землянках, где мы ютились, были, конечно, лежаки-углубления, прикрытые досками оружейных ящиков, но уж очень не вязалась тут вся обстановка с представлением о спокойном режиме.

По дороге к своим шел медленно. Боль постепенно затихала, но еще копилась где-то в мышцах. И, лежа в землянке, старался не поворачиваться, чтобы снова ее не вызвать. Ночь, все были на полетах, однако сон упрямо не шел: трудно лежать неподвижно, еще труднее, когда в голове перекатываются мысли-каменья. Все о том же, о случившемся, сходясь, как в перекрестье прицела, на первой минуте возвращения из небытия: открыв глаза, я увидел сначала почему-то рыжики, а потом эти ботинки, все еще обжигающие память.

...Утром в землянку протиснул свою довольно грузную фигуру комиссар нашей эскадрильи капитан А. И. Эдельман. Мы знали, что раньше, еще в тридцатых годах, был он то ли летчиком, то ли штурманом, но уволился в запас, учительствовал и лишь с началом войны опять вернулся в строй. Сам уже больше не летал. Однако уважали его и летный состав, и техники за душевную потребность помочь, если человеку действительно нужно помочь, простоту (сказывалась, наверное, гражданская профессия), за знания — умный был мужик, а еще за почтенный для нас возраст — лет под сорок, старше всех, почти что отцом приходился многим.

— Лежи спокойно, не ерпенься, — упредил мою попытку встать комиссар, потоптался, привыкая к сумеречному свету в землянке, и пристроился на чурбаке у выхо-



да.— Ну, герой, докладывай про историю свою и само-чувствие.

— Какое геройство? Под бомбу угодили в колодце. О чем тут рассказывать. Помяло только немного. А со мной рядом человек погиб...

— Слышал. Жаль парня, ему уже не помочь, а за тебя рад, что обошлось. Судьба на войне порой неумолима.

— Разве и вы верите в судьбу? — Это слово сразу зацепило, точно вырвавшись из моих мыслей.

— Хм... Смотря в каком смысле. На фронте — тысячи случайностей, если за каждой из них видеть рок судьбы, от такого фатализма мистикой пахнет и до боженьки недалеко. Ну, а если понимать судьбу как стечение обстоятельств — другое дело. Писал же еще Пушкин: «Перетерпев судьбы удары, окрепла Русь».

— Обстоятельства всегда сильнее человека.

— Это, как говорится, бабушка надвое сказала. Разные бывают обстоятельства, и возникают они порой неожиданно, но всегда в результате того, что происходит вокруг нас. Это, можно сказать, проявление жизни на войне. Считают часто, что одному везет, другому — нет...

— В санчасти тоже слышал: «Везучий ты...»

— Вот-вот, только в каком смысле? Если разобраться, наверное, обстоятельства сложились в твою пользу. Смешно говорить, что на войне можно уберечься от опасности. Но все же... Вспомни, при бомбежке ты в колодце где был, на дне?

— Вроде бы, уж не помню. Прыгнул и сразу вниз свалился.

— Видишь. А другой — он, может быть, стоял в полный рост, сверху сила удара больше оказалась. Понятно, случайность, как вы расположились. Но для опыта и это знать нелишне. Сколько раз нашим летчикам опыт в трудных обстоятельствах помогал — из зенитного огня выходить, от прожекторов отрываться или, к примеру, на подбитой машине к своим дотянуть. Суворов, когда говорили, что ему везет, отвечал: «Раз повезло, два повезло, положите что-нибудь и на умение». Чем больше умеет человек, тем предусмотрительнее, увереннее воюет. И каждому еще как нужна сейчас, в тяжелых наших обстоятельствах, уверенность в себе, своем деле, своих товарищах. От такой уверенности берет силу наша вера в победу. В общем, ты совесть свою не смущай, не мучай, мистику гони прочь и поправляйся скорее. Еду тебе будут приносить.

— Обойдусь как-нибудь, спасибо. Уж очень далеко до камбуза добираться, особенно днем, когда немец покоя не дает.

— Это хорошо, что от философии к земным заботам перешел,— засмеялся он и встал, упершись головой в потолок, отчего зашуршал посыпавшийся песок.— Знаю, и базовое начальство обо всем уже знает, скоро будет по-другому...

Понимал, конечно, комиссар, что этот эпизод — капелька в потоке событий войны. Но нашел время прийти и, уловив смятение моей души, подыскал слова, от которых легче стало.

В тот день неожиданно задул сильный норд-ост, погода переменилась, и три ночи подряд полк не возобновлял боевые вылеты. За эти несколько суток я окончательно отошел и был уже почти в полном порядке. Кстати, прекратились как раз и ежедневные хождения в столовую — обеды стали развозить прямо на самолетные стоянки.

...Осень долго не наступала по-настоящему, казалось, вопреки всему, конца не будет этому жаркому лету. Но потом как-то сразу взяла свое непогода, и мы вздохнули облегченно. Так в школьные годы радовались свирепому морозу, когда можно было не идти учиться. И говорить-то неудобно было об этом чувстве облегчения, а все-таки оно в нас жило. Налеты фашистской авиации стали реже, их выверенное по часам педантичное расписание нарушилось. И наш полк тоже уже не каждую ночь мог подниматься в воздух. Затишье было таким желанным, что даже бои под Туапсе, где враг упорно продолжал в октябре и ноябре свои атаки, о которых в Геленджике, конечно, знали, воспринимались как что-то отвлеченно-далекое, будто они уже и не грозили нам окружением на узкой полоске приморской земли. Может, это и эгоистично, но самой большой опасностью всегда представляется та, что к тебе близко, для каждого «своя» война — самая главная.

Иногда с утра, едва рассветало, над Мархотским хребтом в стороне Новороссийска зависали белыми хлопьями ваты льдистые облачка, и мы уже понимали, что вновь идет норд-ост; ветер задувал сразу, как из трубы, сначала резкими порывами, потом сплошным потоком, круша подчас нехитрые аэродромные постройки, еще уцелевшие от бомбежек, срывая на стоянках палатки и даже самолеты, если они не были прочно закреплены.

Пронизывающий сырой холод вымораживал душу, загоняя в землянки. Продолжался норд-ост обычно три дня, а то и почти неделю. Тяжелые машины могли летать, несмотря на свирепый ветер, но «утятам» это было не по чину.

— Слышь, выходит, до весны теперь, как медведь в берлогу, попрятались? — ядовито задел меня красноармеец из БАО, который привез боезапас и увидел, что еще не израсходован доставленный прошлым рейсом.

— Пока норд-ост, нам летать нельзя, вот кончится...

— Понятно. Немцу, значит, можно — вчера только бомбил, а вам нельзя — кишка тонка. Курортная житуха: сиди у моря, жди погоды!

Следующей ночью мне на собственном опыте довелось убедиться, что «ждать погоды» — хочешь или не хочешь — приходится: безрассудство вовсе не сродни храбрости.

В полку был связной самолет У-2. Возвращаясь в Геленджик, он напоролся на «мессера» и едва «унес колеса» — сел весь изрешеченный. Когда машину отремонтировали, летчик, рассчитывая, что она устойчивее наших боевых «утят» и что норд-ост стихает, решил облетать ее. Ночь была промозглая, покалывала ледяными иголками, и, обратившись к работавшим на стоянке, пилот попросил, кто одет теплее, занять место во второй кабине: «Мигом сделаем пару кругов...»

Конечно, я не мог упустить возможность подняться в воздух, жажда утвердить себя продолжала жить — сразу всплыло, как просился в стрелки еще под Ленинградом, а теперь вот, на одноместных «утятах», и думать о боевых полетах не приходится. Ну хотя бы так, пассажиром.

Едва успел пристегнуться, стали выруливать на мертвенно бледную от света луны взлетную полосу. И тут ветер, будто специально собравшись с силами, накатил таким порывом, что наш У-2 на ходу подняло с хвоста, как щепку на волне, — послышался треск, разом все ухнуло, и мы оказались зависшими на ремнях вниз головами. Самолет скапотировал — попросту говоря, ветер его перевернул, одна плоскость была сломана, винт покорежен. Хорошо еще, что сами отделались легкими ушибами.

Нас стали вытаскивать, и у меня по иронии сразу всплыли перед глазами строчки из только что полученного письма матери: «Один ты у меня остался, и то про тебя ничего не знаю. Пожалуйста, не рвись вперед, а если приходится тебе летать, уж как-нибудь летай пониже, прошу тебя». Куда же еще «пониже»!

Это была первая весточка, полученная из дома за все время после короткой встречи с матерью осенью 1941-го — тогда при пересадке в Москве отпустили меня всего на час. Да, собственно, и не из дома — письмо шло три с лишним месяца каким-то кружным путем из Перми, куда, оказывается, она эвакуировалась. Правда, и сам давно не писал — пожалуй, после отъезда из Моздока так и не собрался больше. Сколько ни уверяй себя, что адреса нового не получил, что ниточка нашей переписки еще в первую военную зиму оборвалась и не до писания было — целое лето опять отступали, все равно вина своя давит на сердце. Мог в Москву письмо послать, мог; дошло бы уж как-нибудь. Жаль мать, подумаешь — и в горле перехватывает: как она там, на Урале? Волнуется, переживает, ждет известий об отце, обо мне... Теперь все, сегодня же напишу — пусть не беспокоится: мне не летать, а, наоборот, зарываться в землю поглубже приходится. И ничего опасного, конечно, в этом нет...

К зиме строительный батальон соорудил на аэродроме капитальные землянки по всем правилам — с тамбурами, печками, а главное — крышами в два наката бревен. Главное — по крайней мере для меня, потому что после злополучного происшествия в колодце я, как ни крепился, ощущал при бомбежках слабость, цепенящее бессилие. Это домовитое строительство, которое укореняло нас на «зимних квартирах», пополнение частей на аэродроме, как и возможность ответить на первое за год письмо матери, полученное с «большой земли», и множество других примет, подобно отдельным штрихам на картине, создавали в целом ощущение близких перемен, надежду, что дела наши повернулись к лучшему.

Едва погода хоть немного улучшалась, полк снова наносил ночные удары по вражеским позициям, ближайшим тылам. Рядом с нами теперь действовали настоящие штурмовики Ил-2 гвардейской части, которая сражалась еще под Севастополем, армейский полк ночных бомбардировщиков, усиленная группа истребителей — на Геленджикском аэродроме стало тесно. Сознывая превосходство своих боевых самолетов, наши соседи подтрунивали над возможностями «утят» и реляциями штабов об итогах их полетов:

— Что, опять всем полком разбудили двух фашистов? Или сегодня большой успех — целому отделению пехоты спать не дали?

Приходилось отшучиваться, хотя, конечно, чувствовали

себя ущемленными. Да, за плечами был Гайдук, были солидные у многих летчиков счета боевых вылетов, но чем доказать реальность нанесенных врагу потерь — ночь не дает этому подтверждения. И все же, когда в середине декабря провалилось последнее наступление гитлеровцев, и они были вынуждены окончательно перейти на Юге к обороне, оставив попытки сбросить нашу прибрежную армию в море, мы понимали, что тоже кое-что для этого сделали.

...Много лет спустя, в начале 70-х годов, служебная командировка в ФРГ привела меня вместе с группой журналистов на военную базу бундесвера возле Гармиш-Патрикскірхена, в баварских Альпах. Командовал базой пожилой тучный генерал — случилось так, что он сам нас принимал и беседа по стечению обстоятельств была вынужденно долгой. Перебрав разные темы, мы коснулись и событий минувшей войны. Оказалось, генерал в чине оберста служил в горно-егерской дивизии «Эдельвейс», воевал как раз и под Туапсе, и под Новороссийском.

— Дело прошлое, но, говоря откровенно, нам не хватило тогда совсем малого, чтобы захлопнуть капкан — прорваться через перевалы к морю, — заметил он.

— Что же, если не секрет, этому помешало?

— Как человек не военный, вы вряд ли меня правильно поймете, — с явным оттенком превосходства ответил он. — Могу сказать только, что война там шла не совсем обычная, и мы, признаюсь, были к этому не вполне готовы. Чем необычная? В горах танки не пустишь, тяжелую артиллерию не подтянешь да и для авиации простору мало. Мои егери были приучены рассчитывать на собственный огонь, на свою силу. И сражались, считаю, как лучшие немецкие солдаты. Однако в решающие моменты оказывалось, что, даже продвинувшись ценой больших усилий и потерь, попадали под удары с флангов или тыла, из-за каждой скалы, каждого камня — против нас бились какие-то фанатики, не отступая и не сдаваясь в безнадежной позиции. Прибавьте к этому снег, холод, недостаточное знание топографии ваших гор, плохие коммуникации. И еще: по ночам, бог знает, как в горах это удавалось, налетали маленькие самолеты, мы называли их «москитами», но жалили они очень точно и больно...

Стоило, однако, мне ответить, что тоже воевал тогда на самом южном участке фронта и что ценю его откровенное свидетельство стойкости наших бойцов, как бывший оберст буквально поперхнулся и поспешно перевел разго-

вор на другое. Только когда мы уже прощались, он, поглядывая на своих молодых офицеров, неожиданно вернулся к сказанному, видно, беспокоившему его все это время, и с нажимом, придавая своему вопросу утвердительность, произнес:

— Но вы ведь тоже можете подтвердить, честно подтвердить, что немецкие егеря хорошо сражались.

Я не принял эту игру в благородство:

— Чего не могу, того не могу, господин генерал, поскольку непосредственно с егерями там не встречался: служил в полку, как вы изволили выразиться, «москитов»; у нас было тогда мало боевых самолетов, в ход пошли даже учебные, даже самые маленькие. Но знаю хорошо, что, несмотря на это, вы оказались на Кавказе битыми...

В конце 1942 года были уже серьезные основания считать, что самое тяжкое позади и перелом в войне близится. Ждали с нетерпением новые вести из Сталинграда, где шли бои с целой гитлеровской армией, взятой, что раньше выпадало на нашу долю, в кольцо окружения, — боями этими жил весь огромный фронт. И здесь, на Черноморском побережье, тоже впервые, установилось равновесие: враг уже не мог дальше продвинуться, а мы еще не были готовы его отбросить. Но всякое равновесие на войне — зыбко и непрочное, как короткое затишье в бурю. Матросский «телеграф», передавший молву по землянкам и эскадрильям, все чаще повторял слово «наступление», его предчувствие висело в воздухе.

За неделю до Нового года зарядили дожди; лило так, будто небо над Геленджиком разверзлось, чтобы потоками воды соединиться с морем. Приходилось спасать от этих потоков самолеты в капонирах, боезапас и другое имущество. Мы возвращались в землянки, измученные тяжелой работой, залитые с ног до головы, измызганные грязью: вокруг все походило на болото. Хорошо, что в новых землянках сухо — хоть ночь твоя!

Впрочем, одна из таких ночей чуть не оказалась для обитателей нашей землянки трагической. Поздно вечером, подтопив печурку, мы трое улеглись спать — четвертый был в охране. Люк в тамбуре, к которому вела деревянная лестница, захлопнули, но не заперли, и тусклый свет лампочки, соединенной с аккумулятором, оставили против обыкновения — может, придет наш товарищ позже... В середине ночи меня разбудил и оглушил, будто гром ударил под самым ухом, треск рвущихся досок, грохот падающей воды. В полной темноте ничего не видно, спр-

сонья понять, что происходит, невозможно. Бомба, что ли?..

— Скорее... Наводнение... Наверх! — раздается хриплый крик подо мной.

Срываюсь вниз и попадаю в холодную, обжигающую воду, она бурлит и уже почти доходит до верхних нар. Натыкаюсь на что-то плавающее рядом — тьфу, черт, чемодан...

Струя воздуха проходит по голове ледяным дыханием, это откинут люк; успеваю подумать: «Как здорово, что его не запирали!» — и в два гребка подплываю к лестнице, последним высываюсь наружу. Спаслись! Мы стоим втроем, дрожа в одних тельняшках и трусах, и смотрим вниз, в темный провал, где ворочается, гудит, беснуется вода.

...До сих пор поражаюсь, как это даже в тот раз, когда подземный ручей, набрав силу от дождей, прорвался в неудержимом стремлении к морю через землянку и устроил нам холодную купель, никто не заболел, более того — и не простудился. В самом деле удивительно, что на фронте не болели. Объясняют по-разному: неизбежной в военных условиях закалкой организма, нравственным подъемом, особой психологической устойчивостью. Не знаю, так ли, но для меня это и сейчас остается неразгаданным массовым феноменом.

Мы лишь обогрелись у соседей да переоделись, во что у них нашлось, — на том все и кончилось.

— Будем считать, что прошел ты и через огонь, и через воду, — сказал мне Зверев. Он служил теперь в другой эскадрилье и встретился рано утром у штаба. — Остаются, стало быть, медные трубы. Гром фанфар переносится на следующий год, так?

В тот день мне исполнилось ровно двадцать лет.

1943-й начался, словно по Фединому заказу, активными действиями наших войск на Кавказе. 11 января перешла в наступление на перевалах и черноморская группа. Сперва медленно-медленно, потом все быстрее фронт стал подаваться на северо-запад. Это было как бы эхом завершившейся Сталинградской битвы — докатилось оно и сюда, к далекой от главного события войны периферии, придавая боевым действиям постепенное ускорение. И в первых числах февраля пришел час выступить силам, скрытно накопленным в Геленджикской базе.

Последние месяцы в поросшей негустым кустарником роще за аэродромом располагался отряд морской пехо-

ты — «хозяйство Куникова». Там были разбиты палатки, отрыты землянки, появились временные постройки. И мы подчас встречались с краснофлотцами, лихими парнями на подбор, пришедшими сюда с кораблей и береговых батарей, видели их командиров и даже познакомились однажды со старшим из них, еще сравнительно молодым майором с небольшой бородкой, которого здесь уважительно звали «батей».

— Как воюем, авиация? Погода за хвост держит? — с серьезным видом шутил он. — Подавайтесь к нам, вернее будет: пехота с морской душой — уже не «матушка», а скорее «батюшка», небесной канцелярии не боится и от нее не зависит...

В ночь на 4 февраля этот отряд первым высадился в районе Мысхако, у самого Новороссийска, на той стороне Цемесской бухты, укрепленной гитлеровцами. Большие корабли подойти туда не могли, и десант под носом у врага был доставлен мотоботами, рыбацкими сейнерами — «тюлькиным флотом», как их называли черноморцы. Приятно было об этом слышать: сродни нашим маленьким «утятам», а тоже пригодились на войне. Зацепившись за берег, куниковцы положили начало знаменитой Малой земле. Теперь, едва риск становился хоть относительно возможным, эскадрильи полка даже в самых трудных погодных условиях вылетали ночами к Мысхако для поддержки десанта. Возвращаясь, летчики рассказывали: противник пытается сбросить его в море, на отвоеванном «пяточке» бой не затухает. Но, судя по тому, что можно разобрать ночью с воздуха, десантники держатся...

Майор Цезарь Куников погиб, однако его отряд устоял, получил подкрепления, и Малая земля прочно осталась нашим боевым форпостом на самом крайнем южном рубеже фронта — «опасной занозой в сердце немецкой обороны под Новороссийском», как говорилось в одном из попавших к нам позже приказов гитлеровского командования. Удастся ли хоть увидеть ее собственными глазами?

Битва за Кавказ, за которой можно было следить по картам летчиков, продолжала разгораться, и возникшее после Сталинграда ощущение, что происходят глубинные изменения в самом тоне войны, все усиливалось. Вот и на Геленджикском аэродроме стало еще теснее — прибывала наша сила, заметно прибывала. В северо-восточном углу летного поля, ближе к шоссе, где когда-то



мы, пробиваясь из Гайдука, увидели своих родных «утят», расположилась новая группа Илов — прошел слух, что это из полка, который пока только формируется.

Улучив время, я и Зверев однажды отправились в гости к соседям и получили разрешение под присмотром коллеги-механика оглядеть внимательно, что называется, пощупать эти машины, прибывшие прямо с завода. Вблизи они сразу напомнили мне о первых месяцах войны: чем-то неуловимо похожи на ДБ-3, хотя и не сразу скажешь, чем именно, как у родных братьев. Похожесть, оказывается, была не случайной: и дальний бомбардировщик, и штурмовик вышли из рук одного конструктора — С. В. Ильюшина.

Горбатый профиль Ил-2, уже примелькавшийся над аэродромом, был, несомненно, красив и строг — мне штурмовик представлялся сгустком энергии, как напряженный мускул, но вместе с тем самоуверенно заносчивым, наверное, в отличие от нашего легкомысленного УТ-1.

— Ты идолопоклонник, вот ты кто; ясно теперь, как дважды два,— не утерпел пройтись по этому поводу Федя.

— Почему же?

— Он еще спрашивает! Кого древние наделяли человеческими характерами? То силы природы, то вызванных ими духов, а то просто всякую ерунду вроде каменных баб. А у тебя — машины с характерами, выходит, тоже похожи на людей; идола, да и только.

Шутки шутками, но, знакомясь с Илами, нельзя было ими не восхищаться. Действительно, летающий танк! Броня на кабине, двигателе и топливных баках, цетроплан и хвостовое оперение из дюрала. Сравнить с нашими «утятами» — все равно что рядом ставить крейсер и рыбацкую лодку. А сила огня? Мы залезали в бомболюки, поднимались в кабины, открывали оружейные лючки в плоскостях и с завистью охали:

— Бомбовая нагрузочка до шести «соток» и еще четыре «эр-эса» — это удар!

— А две пушки ШВАК, да два пулемета ШКАС и крупнокалиберный УБТ у стрелка — это огонь!

Разговаривая с техниками, которые работали на Илах, мы чувствовали себя, словно первоклашки в школе перед лицом снисходительного до них великовозрастного выпускника. Такие бы самолеты — да в наш полк...

Воевать, однако, приходится тем оружием, которое тебе

вверено. И почти каждую ночь, несмотря на начавшуюся распутицу — тут у нас было, наоборот, преимущество перед тяжелыми самолетами, — «утята» продолжали выполнять свою боевую работу.

9 февраля Северо-Кавказский фронт при поддержке Черноморского флота снова начал наступление, вступив через несколько дней в Краснодар — кубанскую столицу. Немцы сопротивлялись, переходя в контратаки, и наши войска настойчиво требовали помощи авиации. Особенно сильные бои шли близ станиц Славянская, Абинская, Крымская — полк летал теперь туда, где прошлым летом, вынужденные под угрозой окружения отступать из Ейска, мы проезжали под хмурыми взглядами станичников, оставляя врагу родную землю. Живы ли эти люди, задержавшиеся волей судьбы в оккупации? И не на их ли головы падают наши ночные «эр-эсы»?

В разгар боев, 23 февраля, на всех фронтах и флотах, во всех частях, на кораблях и в подразделениях отмечался юбилей Красной Армии — ей исполнилось четверть века. Еще и Псков, у стен которого она родилась, отражая в 1918 году натиск немецких войск, оставался под пятой врага, но праздник был овеян радостными надеждами. Наша эскадрилья — благо, погода стояла нелетная — собралась вечером в небольшом доме, чудом сохранившемся неподалеку от самолетной стоянки. Выбитые окна заделали фанерой, разожгли печку; хоть она и чадила, стало совсем уютно. Комиссар зачитал принятый по радио из Москвы почти целиком — редкая удача! — приказ, посвященный праздничной дате. Голос его был торжественно-мажорным: перечислялись направления, где инициатива военных действий теперь находилась в наших руках, и среди них — «...на побережье Азовского и Черного морей». Весомо и твердо, подводя черту под целым этапом войны, прозвучали слова: «Началось массовое изгнание врага из Советской страны...»

А у меня в памяти вставало минувшее лето, запыленная роща и гнетущая тишина, в которой мы слушали другой приказ, полный горечи, — тот самый, где дальнейшая сдача нашей территории врагу называлась преступлением. Да, времена изменились. Сейчас юбилейный приказ требовал усилить удары, не давать врагу отдыха ни днем, ни ночью (комиссар снова выделил это «ни ночью»), но предупреждал, что противник пока силен и предстоит еще суровая борьба.

Так оно и было.

Освободить всю Кубань весной не удалось. В середине марта наше наступление захлебнулось, остановленное на «голубой линии» — рубеже, созданном гитлеровцами между Черным и Азовским морями, на подступах к Таманскому полуострову. По данным авиаразведки, две мощные полосы укреплений тянулись здесь от одного селения к другому, все высоты и станицы были превращены в опорные пункты и узлы сопротивления. Но теперь не мы, а противник оказался прижатым к морю...

В те мартовские дни передышки решалась и судьба нашего полка. Тыл давал фронту все больше самолетов, готовил кадры молодых летчиков, и уже не было надобности «латать дыры» в авиационном строю, приспособляя учебные машины к боевой службе. «Маленькие» сыграли свою роль, но их быстрое время прошло. Полк подлежал расформированию, а его личный состав вливался в различные части. Меня среди других определили в новый, 47-й штурмовой авиаполк — тот самый, с первой группой Илов которого мы уже успели познакомиться. Звереву, Маврушину и еще многим выпали иные назначения.

Дружески попрощались и пожелали взаимно удачи. Никто из нас не ведал, что больше встретиться не придется...

Они уехали, а я, взяв свои скромные пожитки, отправился навстречу новой службе, новой боевой жизни. Совсем близко — только перейти на другую сторону аэродрома.



## В ПЕРВЫХ БОЕВЫХ ВЫЛЕТАХ

...Значит, будем считать, не сдрейфишь?

— Да вы что, товарищ младший лейтенант, я еще в 41-м рапорт подавал, в воздушные стрелки на ДБ просился. Но не получилось тогда.

— Подготовки не было?

— Самолетов уже почти не было. А из школы я выпускался с твердой пятеркой по воздушной стрельбе. Последний год служил в полку УТ-1; сами знаете, на «утенке» и летчик-то едва умещается.

— Ну, раз готов, собирайся, сейчас доложу командиру. И учти, отличник, пойдем опять без истребителей.

Всего месяц с небольшим провел я в новом полку, но на фронте совсем не обязательно съесть пуд соли, чтобы сойтись с товарищами: война беспощадно раскрывает, кто чего стоит. Вокруг подобрался славный народ, почти все комсомольцы — и летчики, и техники. Сдружились быстро, хотя и собрались из училищ да разных

частей, мало еще зная друг друга. Но молодым всегда легче сходиться в одну семью.

Вновь завязались трудные бои на Малой земле — собрав силы, противник решил наконец сбросить в море наш десант, вырвать эту «опасную занозу» из ключевого звена своей «голубой линии». Штурмовики совершали по три-четыре вылета за день на поддержку малоземельцев, били по скоплениям гитлеровских войск, танкам, артиллерийским позициям, «обрабатывали» прибрежную зону. Теперь у нас была уже сила: 47-й, мой новый полк, хотя еще и не полностью укомплектованный, вместе со знаменитым 8-м гвардейским — тем самым, что воевал еще в севастопольском небе, и 9-м истребительным образовали 11-ю штурмовую авиадивизию ВВС Черноморского флота.

В один из тех дней большого напряжения на самолете Ефима Удальцова был ранен стрелок, и я, успев подвесить бомбы и снарядить все вооружение к новому вылету, вызвался его заменить. Боевая страда не оставляла времени для раздумий, поэтому разговор с лейтенантом оказался таким кратким; что в самом деле выяснять — если заменять стрелка, а другого нет, то, понятно, оружейнику. Задело меня, правда, сомнение: «Не сдрейфишь?..» Да разве мы, техсостав, из другого теста, чем сами летчики! Может, он, Удальцов, так и думает, но мы тоже обстреляны, хоть и на земле, повидали всякого за год с лишним войны.

Ответить в этом духе удержался, пожалуй, только потому, что уж очень хотелось в боевой полет. Однако потом, вернувшись, понял: лейтенант был прав, спрашивая, наверное, не просто про смелость, а про ту, которая особенно нужна в воздухе и без умения мало стоит.

Вылетели мы шестеркой, вел ее сам командир полка майор Ф. Н. Тургенев. Когда собрались после взлета, отойдя от берега в море, и построились левым пеленгом — крыло к крылу вытянулась ровная цепочка, в шлемофоне зазвучал голос Удальцова:

— Как самочувствие?

— Все нормально.— Я старался придать словам обыденно-спокойный тон искусственного человека, но ощущал даже вибрацию микрофонов на шее, так обострены были чувства.

— Пулемет заряжен? Пристегнулся? До цели близко...

Еще бы не проверить пулемет! Да я за него первым делом взялся, поднявшись в кабину. И к турели закреп-

пился, конечно, как положено, — у нас уже проработывался случай, когда молодого, неоперившегося стрелка «выдуло», то есть вытянуло на пикировании: бравирова своей удачью, он не пристегнулся и бессмысленно погиб<sup>1</sup>. У меня хоть и первый вылет, но — порядок!

Набрали высоту, теперь морская гладь, немисливо красивая сверху, радужно блестя под солнцем. Нас, стрелков, оно слепило, посылая лучи прямо в хвост: заходили к Малой земле с солнечной стороны, чтобы труднее было обнаружить. Внезапность — половина удачи, особенно когда, как сейчас, идем без прикрытия истребителей. А неподалеку, в Анапе, базируется сильная эскадра «мессершмиттов». Проплыла под нами береговая черта, вся в мягких изгибах, и почти сразу же самолеты перестроились попарно на боевой курс.

— Атакуем район кладбища, — скомандовал ведущий, — там скопление танков. Доворачивать с пикированием!

Справа по курсу показались характерные удлиненные очертания Цемесской бухты. Едва успел мысленно отметить, что вот и с высоты ориентируюсь, как ширь горизонта провалилась, солнце заскользило куда-то вниз, под хвост, и огромная сила инерции потянула с сидения — вошли в пики. Скорость резко возросла — самолет «дышал», вибрируя, словно волнуясь. Короткими злыми толчками начали стрелять наши пушки, а я все не мог обрести надежную точку опоры и видел только, как навстречу — то ближе, то дальше — вспухали разрывы. «Это по нам, сейчас собьют, — отрешенно, будто взгляд со стороны, промелькнуло в сознании. Тут самолет резко трянуло. — Вот и конец...» Меня бросило вниз, прижав к сидению, будто навалился тяжелый груз.

— Накрыли! Теперь не зевай, бей по зениткам, — в наушниках звучал возбужденный голос Удальцова, и это вернуло мне способность воспринимать происходящее: значит, отбомбились, выходим из пикирования.

От сознания собственной беспомощности в глазах потемнело, на лице выступил пот — как же это я ничего не увидел?! Сбрасывая скользящую, липкую тяжесть перегрузки, уперся ногами в борта, повернул пулемет

---

<sup>1</sup> На флотских Илах для лучшего обзора стрелка над морским простором прозрачные фонари прикрытия на этих кабинах не устанавливались, с трех сторон все было открыто, лишь сзади стрелка защищала бронеспинка летчика.

на турели. Внизу на земле что-то рвалось в растекавшемся дыму, сверкали выстрелы. «Там зенитки, что ли? Только бы не задеть свой хвост...» Отводя ствол ниже, под стабилизатор, и почти не целясь, я успел дать несколько коротких очередей...

Разворачиваясь, мы выскочили к морю, и вот уже тень самолета, описывая, точно циркулем, ровный вираж, побежала по воде.

— Смотри за воздухом! — напомнил Удальцов, словно предполагая, что я могу отвлечься. — Пойдем на второй заход. Жди теперь «мессеров».

На сей раз командир повел группу, почти прижимаясь к воде: теперь обеспечить внезапность поможет штурмовка с малой высоты. Вновь пересекли береговую черту, и верхушки кустарника, казалось, понеслись под фюзеляжем — их близость завораживала, искажала реальность. Вспомнилось, как про такие полеты в эскадрилье говорили: «Ниже костыля ходили...»<sup>1</sup>

Атаковали цель с ходу. Второй раз я уже не только ощущал, как стрелял, заваливая самолет носом, Удальцов, но и сам увидел расползавшиеся в дыму танки и дал по ним очередь из своего крупнокалиберного УБТ. Однако все это — вторым планом, можно сказать, вне сознания, потому что чувства и внимание опять приковал встречный огонь. Вели его, наверное, и зенитчики, и танки, и немецкая пехота. На левой плоскости самолета, ближе к консоли, появились пробоины с рваными краями, кабина наполнилась запахом гари. Говорят: мгновение — вечность; здесь впервые я понял, что это не просто игра слов. Наш «Ил» дрожал от форсажа мотора, а мне казалось, что он стоит на месте.

Между тем над целью были уже штурмовики, замыкавшие атаку. И вдруг на месте одного из них сверкнул взрыв и стало набухать черное облако. Что там? Разобрать сразу не удалось — мы уходили на той же спасительной малой высоте...

Когда растянувшаяся группа собралась над морем, из коротких переговоров я понял, что прямым попаданием сбита «девятка», экипаж спастись при таком взрыве не мог.

— Вот как это бывает, теперь сам видел, — по внутренней связи сказал Удальцов, и слова его падали в шлемофон

---

<sup>1</sup> Костыль — металлический крюк снизу в хвосте самолета, который поддерживает его на земле.

глухо, тяжело, будто камнем стучали по голове. — Боялись «мессеров», а ребят потеряли и без них...

Да, столько мечтал я об этом дне, столько ждал его, а боевое воздушное крещение получилось непутевым. Растерянность на пикировании, гибель товарищей совсем вытеснили из мыслей, что сбылось наконец давнее желание. И радости никакой не было...

После посадки в Геленджике, едва самолет зарулил на стоянку, я с трудом отстегнул парашют, съехал по плоскости и опустился прямо у шасси на траву: ноги буквально не держали. Расслабиться можно было позволить себе лишь накоротке — спускался вечер, техники уже взялись за работу, никто не снимал с меня подготовку вооружения...

Вернулся после разбора полета Удальцов. Подойдя близко, перехватил шлем и протянул правую руку, а его белесое круглое лицо осветила улыбка:

— Поздравляю. На разборе говорили, хорошо стрелял. По танкам... Зениток, дескать, не боялся. Поймал момент на выходе из пике, да?

Уж не знаю, поддержать ли хотел меня, как в Беззаботном при бомбежке Василий Максимович — помнилось это, или в самом деле что-то случайно случилось. Смутившись от неожиданной похвалы, все же нашел в себе силы не очень внятно, но честно сказать:

— Вряд ли я что сумел. Стушевался. Даже кто по нам бил — не видел.

— Ладно, победителей не судят. Подтверждение есть: до восьми танков эскадрилья сожгла. Что-нибудь и на нашу с тобой долю приходится, а?

Может, и верно, не так уж все плохо.

— А возьмете меня еще?

— Будет день — будет, как говорится, и пища...

Если бы все задуманное получалось... Несколько самолетов восстановить не удалось, их экипажи распределили на исправные боевые машины, и летного состава оказалось вполне достаточно. А тут еще старший техник эскадрильи по вооружению нравоучительно высказался:

— Такие бои на Малой земле, самолеты готовить не успеваем, но вооруженцы у нас есть несознательные — все время смотрят в воздух. Надо эти настроения пресекать...

— Рожденный ползать — летать не может?

— Ну, это, знаешь ли, демагогия. Думаешь, я летать



не хочу? У каждого на войне свое место, и сам видишь — оружейников не хватает, тем более с опытом.

Так и не удалось мне в эту неделю ожесточенных боев на Малой земле еще раз полететь на поддержку десанта. А штурмовики продолжали бить с воздуха атакующего врага. Там сейчас решалось многое, и морская авиация помогла малоземельцам устоять — в двадцатых числах апреля немцы были вынуждены оставить попытки ликвидировать наш плацдарм, нависший над Новоросийском.

Вскоре после этого, наверное, перед самым майским праздником, в полк приехал Леонид Соболев, знаменитый писатель-маринист, чьим «Капитальным ремонтом» мы зачитывались еще в школе. Кто был свободен, собрались под вечер на лужайке среди густых кустов, маскировавших самолеты. Расселись на земле, а он остался стоять, возвышаясь над нами — крепко сбитый, особенно статный в морской форме. Так, стоя, и рассказывал про свои встречи с черноморцами под Одессой и Севастополем, потом читал фронтовые записки, которые составили новый цикл «Морской души». Голос его звучал негромко, безо всякого пафоса, но проникал к сердцу и захватывал необычайно: писал он о том главном, чем все мы жили.

«...Морская душа — это огромная любовь к жизни. Трус не любит жизни: он только боится ее потерять. Трус не борется за свою жизнь: он только охраняет ее. Трус всегда пассивен — именно отсутствие действия и губит его жалкую, никому не нужную жизнь. Отважный, наоборот, любит жизнь страстно и действенно. Он борется за нее со всем мужеством, стойкостью и выдумкой человека, который отлично понимает, что лучший способ остаться в бою живым — это быть смелее, хитрее и быстрее врага».

Соболев читал, а мне казалось, что все это неспроста, что он каким-то образом знает про мой первый вылет и не случайно поглядывает в нашу сторону. «Только полетев снова, смогу доказать себе, что не слабее других», — вертелось в голове, мешая воспринимать повествование о героях морской пехоты, подводниках, артиллеристах...

— А теперь прочту рассказ из авиационной жизни, называется он «2-У-2», — продолжал Соболев. — Если, конечно, время еще есть и хотите послушать.

— Хотим, очень хотим! Просим!.. — закричали кругом.

— Ну, раз так, слушайте. Рассказ этот тоже севасто-

польский, про двух молодых летчиков — совсем, как вы. Только воевать им пришлось сначала на У-2.— Он посмотрел в темнеющее небо, усмехнувшись чему-то своему:— Среди вас, гордых иловцев, может, и не найдется тех, кто вкусил этого горького хлеба прошлого лета войны, когда дорог был для боя даже каждый учебный самолет...

Мне бы тут к месту вставить, что не только на У-2, но даже на самых маленьких УТ-1 воевал целый полк, который еще недавно базировался в Геленджике. Но пока собирался с духом, подыскивая слова, начало рассказа уже осталось позади:

«... Каждому из них было неполных девятнадцать лет.

Девятнадцать лет... Удивительный возраст! Силы твои еще незнакомы тебе самому, и ты уверен, что можешь совершить многое, над чем человек постарше призадумается. Сердце еще горячо, как неостывшая сталь отливки, и силы вскипают, ища выхода в действии...»

Снова от рассказа перекидывается мостик к собственной жизни: мне-то уже двадцать, и воюю без малого два года, но много ли успел?

А нить повествования разворачивается дальше. До того как начать боевые полеты, эти парни, молодые летчики, два месяца томятся на аэродроме, донимая начальство просьбой разрешить им летать. И всякий раз слышат: каждый должен воевать на своем посту... Похоже, очень похоже на мою военную судьбу!

Наконец они получили на двоих старенький самолет У-2, который в эскадрилье называли «телегой» или чаще «загробным рыданием»; до этого он служил здесь только для связи. «И каждую ночь «загробное рыдание» стало выть мотором над передним краем немцев, методически, с большими промежутками, швыряя в окопы гранаты и бомбы...»

Насчет «выть» — это, конечно, писательская вольность, мотор У-2 тарахтит, а не воеет, всем известно, а остальное — ну совсем как было у нас в 46-м полку. Вот бы прочесть рассказ тогда!

Соболев продолжал все так же неторопливо-спокойно, но слова его стали будто бы тяжелее на слух, точно написанными с особым значением: «Теперь они были взрослыми людьми, настоящими летчиками, делавшими суровое и серьезное дело длительной отваги, и романтическое представление о бое как о стремительном прыжке давно уже сменилось отчетливым пониманием, что вой-

на — это труд, постоянный, напряженный и опасный труд...»

Точно, это уж точно — труд постоянный и опасный!

Еще больше запали в душу напутствия генерала, который в рассказе, ближе к концу, говорит «двум-у-два», стремящимся воевать в полную силу: «Зубами держитесь за каждую возможность уйти в бой, никому не уступайте права бить врага, никому... Сам бей, пока молодо сердце, пока руки крепки...»

Держись за каждую возможность — это и про меня тоже... Сам бей... Да если бы они были, такие возможности!

Реальность нового боевого полета возникла позже и опять при обстоятельствах неожиданных.

...Как раз в ту пору прикомандировали на время к нам из братского 8-го гвардейского полка лейтенанта Бабкина. Среди многих хороших летчиков он был уже известен у штурмовиков всей дивизии. И не только потому, что воевал смело, с товарищами держался открыто, душевно, любил шутку. С ним постоянно случалось что-нибудь исключительное, из ряда вон. Однажды, например, не вернулся с задания — шел замыкающим в группе и неизвестно куда девался. Сбит и погиб, сел на вынужденную? На аэродроме его ждали, напряженно прислушиваясь и всматриваясь в быстро вечеревшее небо, но с каждой минутой надежда таяла: расчетное время полета истекло. Когда судьба казалась уже неумолимой, из-за кустов, почти цепляясь за них, вынырнул «Ил» и, не подворачивая, тяжело плюхнулся наискосок аэродрома. Винт его больше не вращался, самолет пробежал по полю и намертво замер: в баках не осталось ни капли бензина. Это был Бабкин.

— Что случилось, где ты пропал?

Гвардии лейтенант изобразил недоумение, пряча в глазах усмешку:

— Мы пропадали? И не думали. Только делом занимались, правда, Василий? — Это к стрелку и, подмигнув, добавил: — Скорее пленку проявите — узнаете.

— Ты что же, может, сам себя снимал, задом наперед?

— Как говорится, ловкость рук и никакого мошенства, — рассмеялся он. — Спешите увидеть, а мы побежим в штаб докладывать, там еще вопросов назадают...

«Ловкость рук» была загадочной, потому что специальные фотоаппараты, установленные с недавних пор на некоторых «Илах» под крылом, у левого шасси, для документального подтверждения результатов штурмовок,

были, естественно, нацелены вперед. И замыкающий в группе на таком самолете — «фотограф» всегда фиксировал на пленке боевые автографы своих товарищей; съемка велась на атакующем пикировании, и его собственные бомбы оставались позади, за кадром. Что же еще придумал Бабкин, почему темнит?

Автомобиль-лаборатория стоял поблизости, и пленку быстро проявили. Сначала на ней шли обычные кадры штурмовки: взрывы, слоенные густые дымы над портом, расчерченным причалами, словно по линейке, — с высоты они выглядели нанесенными на топографическую карту. А потом увидели действительно необычное: в первом кадре на светлом шелке неба черную точку, маленькую, как булавочная головка; на следующем она превратилась в самолет; вот он уже близко...

— Да это же, братцы, Ю-52.

— Транспортный «Юнкерс», верно, три мотора...

Последний кадр запечатлел самолет, охваченный пламенем, — горящий в воздухе факел.

Оказывается, Бабкин, догоняя после штурмовки группу, заметил в стороне уходившего на запад гитлеровца и, не раздумывая, повернул за ним, настиг и сбил из пушек, будто заправский истребитель, благо скорость «Ила» больше транспортника и еще оставался боезапас к бортовому оружию. Причем по ходу дела не забывал щелкать тумблером включения фотоаппарата, чтобы использовать неотснятые кадры. Ну а время полета, которое уходило неумолимо, он, подобно азартному игроку, просто не брал в расчет и обратно вернулся, что называется, уже на честном слове.

С тех пор о Бабкине стали говорить: «А, это тот, который сам свою работу снимал...»

И вот теперь случилось так, что Бабкин опять вылетал замыкающим в группе, которая атаковала врага на Малой земле, и не вернулся вместе со всеми. Пошутили — дескать, снова никто не заметил, куда он пропал; может, тайком подцепил еще одного немца, собьет и вернется. Только на сей раз долго ждать не пришлось: со стороны моря появился самолет, он летел над самой водой странными толчками, точно оступаясь. Не дотянув до берега всего метров триста, «Ил» судорожно клюнул носом и рухнул в волны.

Упал израненный самолет Бабкина.

От Тонкого мыса на простор бухты рванулся торпедный катер, а мы кинулись к берегу. Но разве тут можно

чем-нибудь помочь, если машина вместе с экипажем ушла на дно? Ведь гибельные минуты бегут и бегут...

И вдруг там, где упал штурмовик, взметнулся султан воды, будто взрывом что-то выбросило из глубины, и на волне поплавок закачался темный предмет. К нему подошел катер, и, сколь ни удивительно, это оказался сам Бабкин: живой и невредимый, он плавал в странном перевернутом положении, держась — точно в самом деле то был поплавок — за пристегнутый сзади парашют. А ведь после падения самолета прошло уже больше пяти минут!

Вскоре все выяснилось.

Лейтенант задержался над целью, чтобы получше зафиксировать результаты атаки, и штурмовик был настигнут парой «мессеров», вынырнувших из облаков. Пришлось, отбиваясь, уходить мористее, а они продолжали «клевать» одинокий «Ил», поливая его огнем и стараясь взять сзади в клещи, чтобы окончательно добить. Прицельными очередями стрелок сумел довольно долго держать их на почтительном расстоянии, пока его жизнь не оборвалась вместе с последней слабеющей фразой: «Командир, я ранен, ничего не видно...» Теперь «Ил», казалось, был обречен, тем более что отказало управление рулями высоты, из простреленного трубопровода в кабину летчика стало бить масло, затрудняя обзор, и мотор работал с перебоями. Самолет трясло, как больного в лихорадке. К счастью, это было уже недалеко от Геленджика, откуда — в самый раз — поднялись на свое задание наши истребители, и «мессершмитты», дав вдогонку еще несколько очередей, сочли за лучшее отвернуть, или, может, у них вообще кончились боеприпасы... А Бабкин упорно держал машину над самой водой и тянул к бухте. Оставалось совсем немного до берега, когда двигатель все же замолк, винт неподвижно замер и самолет плюхнулся в волны.

Летчик пытался сразу выбраться, но как ни рвал на себя колпак фонаря, тот не поддавался — перекосило его и заклинило. «Ил» плавно опустился на дно, стало совсем темно; с боков, из-под негерметичных сочленений фонаря в глухой тишине с комариным звоном били упругие струйки воды. Собравшись с духом, лейтенант снова двумя руками рванул колпак что было мочи. Он наконец сдвинулся, в кабину хлынула вода, и сразу же, словно наперекор ей, невидимая сила бросила Бабкина вверх,

перевернула вниз головой и мгновенно вынесла через толщу моря на самую поверхность...

— Ну, мастер, ну, Садко! — посмеиваясь, говорил потом, когда все улеглось, начальник парашютной службы полка.— За жизнь такого не слыхивал: чтобы на дне посидел, а оттуда— на парашюте!..— И объяснял всем, как это произошло: в шелке, сложенном слоями, много воздуха, благодаря ему пристегнутый парашют, на котором сидел летчик, стал в воде настоящим поплавком, он-то и вынес стремительно лейтенанта на поверхность. Иначе с глубины бы не подняться — задохнешься. Так газ вышибает пробку из бутылки шампанского...

Шампанского, чтобы отметить «возвращение со дна», у нас, разумеется, не было, но и наркомовские сто граммов оказались очень кстати, когда Бабкин, вернувшись после осмотра в санчасти, вечером зашел к друзьям из нашей эскадрильи. Он в подробностях рассказывал о происшествии, юмористически изображая свои переживания. Кто-то притащил гитару и, перебирая струны, закончил веселым речитативом:

Повернулась так фортуна —  
Был я гостем у Нептуна.  
И на дне без ропота  
Поднабрался опыта:  
Как и в небе, нужен тут  
Для спасенья — парашют!..

Лейтенант провел рукой по гитаре, будто смахнул под общий смех эти слова, опустил голову, смежил веки, а когда снова посмотрел на нас, погасшую усмешку в его глазах сменила глубокая, острая боль.

— А Василия уже ничем не вернешь... Меня-то ведь он сначала спас, а парашют — уж потом...

Со стороны бухты застучали зенитки, по темнеющему небу поползли, зашарили длинные белесые руки прожекторов, где-то над головами нарастало знакомое подвывание немецких бомбардировщиков: «И-д-уу, и-д-уу...» Противовоздушная оборона базы в последнее время заметно усилилась, и они зачастили в Геленджик по новому «графику» — в сумеречную пору. На самолетной стоянке всех как ветром сдуло по щелям, и мы с Бабкиным оказались рядом. Бомбы рвались у катерников, на мысу.

— Пронесло?

— Вроде бы да, на сегодня.

Мы переглянулись и, хотя ничего больше не было сказано, почувствовали взаимную близость — может,

от сознания легкости, с какой на сей раз отвернулась от нас опасность, или просто потому, что оба, не кланяясь, стояли в щели локоть к локтю.

— Знаешь что, возьми теперь меня стрелком, — будто продолжая этот немой разговор, попросил я.

— Куда? Да ведь я «безлошадный».

— А если дадут самолет? Один точно выходит из ремонта. Резервный. Обязательно дадут!

— Лучше не загадывать. Наверное, отпустят теперь в свой полк. — Он заспешил от щели: летный состав уезжал на ночевку. Но, прощаясь, добавил ничего не обязывающее: — Утро вечера мудренее...

Утром выяснилось, что отремонтированную машину действительно отдали Бабкину, и перед вылетом он получил разрешение взять меня стрелком. Все сошлось, будто по заказу! Только вот я свое инженерное начальство уже не успевал поставить в известность; при такой ситуации, наверное, к лучшему — могли ведь и отказать.

— Обойдется, вылетать надо, — торопил гвардии лейтенант. — Вернемся, и доложишь. А сейчас слушай: полетное задание такое...

Группе наших штурмовиков предстояло нанести удар по анапскому аэродрому гитлеровцев, где накануне воздушная разведка засекала много самолетов. Фото-съемка разведчикам почему-то не удалась, но, по их словам, самолеты занимали юго-восточную кромку летного поля, ограниченного здесь невысокими холмами предгорья. Причем расставлены были без маскировки, с немецкой педантичностью — длинным рядом по линейке, прикрытые сильнейшим зенитным огнем. Поэтому идти к цели будем с моря, кружным путем, чтобы не обнаружить себя заранее.

...Вслед за Бабкиным, который уже в самолете, занимаю место в своей кабине и тут же слышу его команду: «От винта!..» Мотор запущен, прогрет — самое время: небо расчерчивает зеленая ракета. Вылет! Мысленно представляю, как легчик показывает рукой: «Убрать колодки», — наш «Ил» следом за другими начинает катиться к старту. Еще минутная задержка: на полных оборотах ревет мотор, прожжены запальные свечи, проверены тормоза шасси. Тяжелый, упругий разбег — и мы в воздухе.

Море тускло блестит внизу, как необъятно развернутый шелк: ни волны, ни складочки. Мир, заключенный между этой спокойной синью и ясным, светлым небом,

залит мягким утренним солнцем. Кажется, только наша гудящая армада нарушает этот царящий вокруг покой. И действительно целая армада: две четверки «Илов», а сверху подходят еще истребители прикрытия — три пары «Яков». Будет, будет врагу в Анапе сюрприз!

Летим низко, вдали от берега, его очертания даже не угадываются. Где-то позади остался Новороссийск. Наша группа идет впереди, и каждый внимательно следит за самолетом командира: переговоры по радио до выхода в атаку запрещены. Вот и условный сигнал: ведущий покачивает с крыла на крыло — «Внимание, скоро цель, набираем высоту». При развороте ощущаю свежее дыхание моря на лице; эта свежесть, подобно глотку холодной воды при жажде, придает душевную легкость и уверенность: теперь-то уж все будет не так, как тогда, в первый раз...

Пересекаем береговую черту западнее Анапы, чтобы появиться из глубины вражеского тыла и после атаки уйти снова в море. Кажется, все сделано для скрытности подхода и внезапности удара. Но едва впереди открывается аэродром, наша первая группа попадает под обстрел — сразу, как будто нас здесь ждали. Хлопья разрывов встают завесой навстречу. Бабкин бросает машину то в сторону, то вниз, она рыскает, словно пытается найти брешь в этой надвигающейся огневой стене. Радиомолчание уже ни к чему, и командир передает открытым текстом:

— «Мессеры» взлетают. Внимание!

Вот тебе и внезапность...

Начинаем пикировать — прямо в пекло. Упершись ногами в основание турели, держусь более или менее устойчиво, слился с пулеметом, нацеленным под хвост. Сознание четко фиксирует происходящее, растягивая короткие секунды атаки, — все-таки пошел впрок тот первый урок. Вот стали бить наши пушки, с мягким толчком, будто самолет вздрогнул, пошли «эр-эсы». И тут же крепкий удар сбоку подбрасывает тугой волной — близкий разрыв, почти накрыло. Прицельно бьют, точно! Зря говорят: попала зенитка — случай, может, в белый свет стреляла, а попала. Для храбрости так говорят, что ли? Чувствую кожей, всем своим существом — вспышки затягивают, поглощают наш «Ил». Но сосредоточиваться на этом нельзя. Для меня наступает решающий момент: сейчас сбросим бомбы, и после выхода из пикирования цель окажется под хвостом, придет мой черед



бить из своего крупного калибра по самолетным стоянкам, по зениткам — что попадет в перекрестье прицела. А может, и отбиваться от «мессеров» — пока их, слава богу, вроде бы нет; если и сумели взлететь, то наши истребители тоже, надо полагать, не зевают.

Воздушная атака стремительна, и многого просто не успеваешь заметить — одно нанизывается на другое в струе мелькающих впечатлений. Высота уже, наверное, меньше пятисот метров — несмотря на плотный обстрел, Бабкин выдерживает характер; как это нас еще не сбили?! Земля уносится из-под крыла, и за хвостом мне открывается край поля, омеженный виноградником. В этом убегающем, словно кадр кинофильма, кусочке аэродромной панорамы вдруг замечаю зенитную позицию — стреляют нам вслед. И тут же батарея вырывается из обзора — это, отбомбившись, лейтенант резко выравнивает машину, отворачивая после пикирования направо и набирая высоту. Разом наваливается вязкая, гнетущая тяжесть перегрузки, с трудом разгибаюсь и поднимаю голову над срезом кабины. Теперь передо мной, как на ладони, — вся центральная часть самолетной стоянки противника. Она покрыта клубами дыма, в котором разгораются два, нет — даже три костра. Это поработали первые штурмовики. А следом рвутся и наши бомбы; одна угодила прямо в самолет, и там тоже вырывается пламя, другие накрыли длинное строение, приплюснутое к земле — то ли склад, то ли еще что, сразу не определить.

— Командир! — кричу я. — Точно попал!

Попасть-то попали, только почему самолетов здесь вроде бы мало? Мелькнуло в памяти: «Длинным рядом по линейке...» Если бы так! Наверное, засекли немцы разведчика и поспешили перебросить из Анапы большую часть своей воздушной эскадры. Но все равно и на нашу долю досталось!

Противозенитные галсы, которыми Бабкин старается увести машину из огня, сбивают прицел, однако я снова ловлю в него какое-то строение и стреляю, не снимая пальцев с гашетки. Уголкем глаза — как это получается, сам не знаю — различаю справа и выше осиный силуэт «мессера»; поворачиваю туда турель и замечаю уже «Як», связавший его боем. Молодцы ребята из прикрытия, то-то не видно тех «худых», что взлетели нам навстречу...

Это было последнее, о чем успел подумать. Наш «Ил» содрогнулся от удара, будто вдруг что-то лопнуло в нем со скрежетом и воем, меня обдало жаром, толкнуло

жестко в грудь, отбросив к бронеспинке кабины. Падаем?.. В глазах мгла, ничего не различаю, не понимаю. Только что жив — еще жив...

— Эй, сержант, отзовись. Как у тебя? Докладывай!

Голос лейтенанта — необычно низкий, сиплый — возвращается к реальности, к действию. Отвожу руку, инстинктивно прижатаю к груди, — там, где жжет, она сырая, с лохмотьями комбинезона, тельняшки. Это кровь, кровь! Все уже вижу, просто затмение нашло — стукнуло здорово.

Вслух повторяю эти слова:

— Стукнуло здорово... — И, оглядываясь: — Пробоин много по левому борту... Прицел вот сорвало...

— Ну, держись. Вдогонку жажнуло, ближе к тебе. А у меня вроде порядок. Летим... — И еще раз обычное: — Держись, смотри за воздухом!

Мы уже снова над морем, вышли из-под обстрела. Зажимая ладонью середину груди, откуда рвется боль, приподнимаюсь, чтобы оглядеть заднюю полусферу. В отдалении подходят еще три «Ила», ясно — из второго эшелона. Где же их четвертый — сбит?.. Наша группа, собравшись полностью, вслед за ведущим сбрасывает скорость, чтобы они скорее нас догнали: возвращаться надо, конечно же, вместе, под защитой истребителей.

Кровь продолжает понемногу сочиться, чувствую, как набухла разодранная ткань на груди. Пошарив у сиденья, нахожу комок ветоши, приготовленной для чистки пулемета, и пытаюсь запихать ее под комбинезон. Но от прикосновения снова вспыхивает боль — лучше уж не тревожить. Надо терпеть!

— Как воздух? Почему молчишь? — В шлемофоне теперь уже обычный голос лейтенанта.

Нельзя выдать себя: лететь еще немало, пусть работает спокойно. Главное — наш верный «Ил» выдержал удар, и, несмотря на пробоины в фюзеляже, на плоскости, мы летим, летим домой. Собравшись, отвечаю коротко, на одном дыхании:

— В воздухе тоже порядок. Идут только свои... Порядок...

Когда наконец садимся в Геленджике, самолет трясет и разворачивает — одно колесо шасси, оказывается, пробито. Меня бросает к борту, рукоятка пулемета задевает плечо, и от всего этого опять накатывается болевая волна в груди. Штурмовик останавливается, но выбраться из кабины я уже не в состоянии.

— Что с тобой?— Это Бабкин, он вылез на плоскость и нагнулся ко мне. Вижу, как округляются его глаза: — Что с тобой? Ранен?.. А говорил: «Порядок»!..

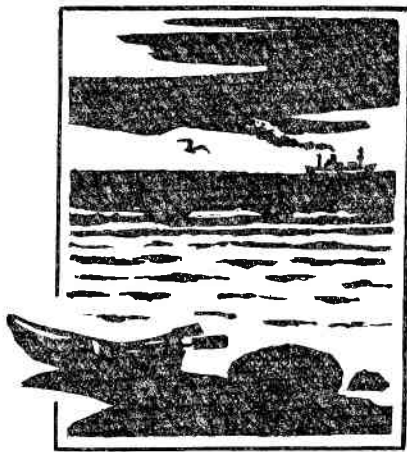
Выглядел я в самом деле страшновато — в перемазанном кровью комбинезоне с красным пучком ветоши на груди. И прямо с летного поля меня отправили в госпиталь. Там, однако, быстро выяснилось, что ничего страшного нет: осколки от фюзеляжа содрали только кожу. Рану обработали, перевязали, и врач удовлетворенно сказал:

— Будут у тебя шрамы — зарубки на память. А больше, думаю, по нашей части — никаких неприятностей. Летай на здоровье!

Когда возвращался в полк, первым, кого увидел, подходя к нашей самолетной стоянке, оказался, словно нарочно, старший техник эскадрильи по вооружению. Хотя он и не так зло, как можно было ожидать, попенял, что полетел я без разрешения непосредственного начальства, но не преминул вернуться к старой теме:

— Война сама расставляет нас по местам, и перечить ей нельзя. Ты вот на целый день выпал, можно сказать, из строя. Ладно хоть ненадолго, раз на ногах стоишь. А оружейников-то не хватает. Кому от такой ситуации польза? Молчишь?..— Он как-то невесело усмехнулся своим мыслям и, словно взвесив их, ворчливо продолжал:— Все рветесь в воздух, а ведь без труда на земле авиации вообще нет, так-то. Знаешь ли ты, что сам Ильюшин пришел в воздушный флот не с парадного входа, а сперва изрядно поработал в аэродромной команде?! У каждого — свой передний край...

Очень надеялся я, что Бабкин после всего пережитого добьется моего перевода к себе в экипаж, в стрелки. Однако его вернули в гвардейский полк, а там — не возвратился лейтенант с задания. Погиб еще один человек, ставший на войне мне очень близким.



## ПРОЛОГ ЖАРКОЙ ОСЕНИ

**З**а три месяца, дорогой ценой оплачивая растущий боевой счет и прибавление опыта, наш молодой полк понес ощутимые потери, и, готовясь к предстоящим боям — а было ясно, что лето 1943-го станет жарким, — командование дивизии решило частично отправить передовые эскадрильи на переформирование для пополнения материальной части и личного состава. Местом временного базирования определили грузинское селение Старая Абаша. Так вместе с группой техников я снова отправился в тыл. Ехал, думая, что если судьба вообще существует, то моя — горбата, как «Ил».

...В первых числах сентября, получив новые боевые машины и летное пополнение, мы возвращались в Геленджик. Почти за два месяца под горячим солнцем, окруженные грузинским гостеприимством, многие обрели вполне «курортный» облик: отъелись, загорели, привели в щегольской вид форму. И хотя эти месяцы, день за

днем, были наполнены нелегкой работой — вводили в строй самолеты, отлаживали вооружение и приборы, тренировали молодые экипажи, — отдыхали тоже. Купались в речушке, вечерами ходили на танцы, которые устраивались прямо на площадке у огромного раскидистого дуба. Даже в «театре» побывали: прибывшая на гастроли труппа показала под тем же дубом-патриархом, где была наскоро сколочена сцена без занавеса, «Жди меня» по К. Симонову. Помнится, от спектакля осталось щемящее чувство обделенности: иные ребята уже и здесь, в Абаше, успели обзавестись «своими» девушками, а меня ждала по-прежнему только мать.

На первых порах отдых этот воспринимался как неожиданное и счастливое благо. Но только вначале, потом же большинство из нас все нетерпеливее стало ждать отправки на фронт — аэродром. Тем паче, что вдаль от фронта гораздо объемнее, во всю ширь обстоятельств и взаимосвязей войны, представилось то, о чем в боевой горячке не успевали узнать или не приходилось задумываться. На расстоянии эти взаимосвязи действительно лучше видишь и понимаешь. Чего только стоила ежедневная сводка Совинформбюро, которую до нас, говоря языком политдонесений, регулярно «доводили». Как изменилось все с предыдущего лета, когда мы отступали, глотая пыль прикубанских степей, и старались на своих слабеньких «утятах» хоть что-то сделать, чтобы покрепче была преграда вражеским лавинам, растекавшимся к Волге и Кавказскому побережью! Уже лишь то, что стало возможным вывести часть полка в тыл и неспешно, основательно готовить к новым боям, само по себе многое значило. И мы верили, что эти решающие бои близки, особенно теперь, после Курской битвы и первых московских победных салютов, эхо которых взволновало и далекую Абашу.

Командирам приходилось все чаще отвечать на вопрос, который, что называется, витал в воздухе: «Когда же, наконец, воевать?..» Всякий раз, правда, у них находился повод повернуть ответ на дела насущные: дескать, еще не на всех машинах девиацию устранили или оружие пристреляли, этим-то и надо получше заняться. Положение обязывает — служба! Только, если в сводке сообщалось о нашем успешном наступлении на других фронтах, было заметно, очень заметно, что такие служебные аргументы им самим надоели до чертиков...

И вот долгожданный приказ был получен, самолеты

взяли курс на Геленджик. А мы, группа техников, выехали туда на «перекладных»: до Сочи поездом, потом — как бог пошлет. «Бог» в лице сочинской комендатуры выделил грузовик, однако на нем удалось добраться только до Туапсе: дальше, через Михайловский перевал, дорога оказалась закрытой. Зато в порту, сильно разрушенном бомбежками, но продолжавшем жить, выяснилось, что рано утром к Геленджику пойдут сейнеры, они могут нас подбросить.

— Пошаливает фриц вдоль побережья, — рассказывал дежуривший по порту лейтенант, наверное, из запасников: его возраст и грузный, степенный вид никак не соответствовали скромному званию. — Летает... Но ничего, «тюлькин»-то флот бережком пробирается, медленно, да верно. Только пораньше суда выходят, еще затемно.

— А когда, если точнее?

— Думаю, в эту ночь до четырех все приготовим.

Спускался вечер, мы расположились на бревнах, наваленных прямо у причала, достали сухой паек, «заправились». Как теперь скоротать еще ночь? Вдвоем с Сергеем Тихомировым, младшим техником-лейтенантом, решили пойти в город. Больше никто с нами не собрался.

— Рискуете, ребята, а если что переменится?

— Да мы скоро вернемся. Хочется немного поразмяться. Что тут изменится?..

Туапсе, во всяком случае, район, прилегающий к порту, производил впечатление опустошенного города — ни людей, ни огонька. В сумерках, быстро сгушавшихся, разрушенные дома казались хаотическими каменными нагромождениями, словно принесенными обвалом с гор. Но и те, что вроде бы сохранились, зияли темными, как оскал рта, дырами или раскрывали обнаженные лестничные марши. Ближе к окраине, где мы молча остановились, подавленные этой картиной, торчали лишь печные трубы, оставшиеся от небольших домиков, — след ушедшей жизни.

Тихомиров, который немного знал Туапсе, сказал:

— Тут недалеко, километра три, поселок в ущелье. По-моему, Нефтедар называется. Так он, говорят, цел, там народ — из тех, кто остался в городе... Пойдем?

— А не поздно будет? Совсем уж темень.

Он посмотрел на часы:

— Еще только начало десятого.

— Ну, если близко, пойдем...

Поселок, хотя здесь и поддерживалась плотная светомаскировка, мы сразу признали живым: и люди, несмотря на поздний час, встречались на улицах, и в домах кое-где да мелькал шальной лучик. А у здания, куда вскоре подошли, даже слышалась музыка — там играл баян. Потоптались возле закрытой двери. Из нее выглянул старик, на нем почему-то был ватник.

— А, морячки... Вот это хорошо, дюже вовремя. Проходите, можете без билетов — мужского персоналу в клубе очень даже не хватает...

— А что сегодня у вас?

— Как что? Танцы, конечно. Суббота, народ отдыхает...

В нас боролись два чувства: одно звало туда, в зал, к людям, к девушкам, а другое робко предупреждало — надо возвращаться. Поддаться первому было, конечно, желаннее, и Тихомиров предложил:

— Ну только на пять минут. Раз уж пришли. Посмотрим — и сразу айда в порт.

Суждены нам благие порывы!..

Из клуба мы выбрались во втором часу ночи, утешая себя, что до четырех — времени отхода, как обозначил его дежурный по порту, — вполне успеем добраться обратно. И все же неясная тревога гнала нас бегом. Хорошо, что дорога назад под гору, теперь только бы не заблудиться в глухой темноте мертвого города, где так громко стучат каблуки по остаткам асфальта на мостовой.

Было еще неблизко до порта, когда с той стороны донеслось приглушенное расстоянием: «Та-та-та-та...» Пробуют моторы или уходят? Мы припустили изо всех сил. Но когда добежали, на бревнах у «нашего» причала уже никого не увидели. Из глубины бухты продолжало слышаться «татаханье».

Кинулись к другому причалу — сейнеров там тоже не было, зато стоял торпедный катер. Может, подбросят вдогонку ушедшим? Увы, на катере оказался разобранным мотор.

Обежали еще причал. Пусто...

— Если отстанем, пришьют дезертирство.

Командировочные документы у группы были общие; мы даже объяснить ничего не сможем.

Тарахтенье с моря теперь доносилось еле-еле, все более растворяясь в темноте.

С отчаяния действительно ухватишься и за соломинку.

Наткнувшись на лодку, почти вытасченную из воды, мы, не сговариваясь, разом столкнули ее в прибрежную волну. Так хотелось верить, что это — спасение. И весла есть, грести, скорее грести!

— Видел в волноломе пробоины, еще вечером. Далеко от входных ворот, — налегая на свое весло и глухо выталкивая слова, говорил Тихомиров. — К этим пробоинам надо идти. Проскочим напрямую — может, догоним...

И мы лихорадочно гребли, не давая себе передышки. Но туда ли? Густая темень закрыла все. Ни берега, ни огонька, вокруг только вода. Ветер катит ее на лодку, и волна за волной как бы смывает надежду, остужает наш порыв. Да разве найдешь тут хотя бы верное направление, когда не знаешь, куда несет?

Вскоре заметили, что и в самой лодке — вода, она быстро прибывала. Мне пришлось оставить свое весло, чтобы вычерпывать ее фуражкой; ничего другого для этого не оказалось. А вода все поднималась, лодка садилась глубже — видно, течь в ней оказалась изрядной...

— Давай поворачивать к берегу!

— А ты знаешь, где он, берег? — отвечает, тяжело дыша, Тихомиров.

Однако все равно гребет, гребет, а я безостановочно выплескиваю воду, пока стихия окончательно не берет верх: очередная волна захлестывает лодку через борт, она разом уходит из-под ног, и мы оказываемся в море.

...Минут через тридцать — впрочем, время определить трудно в этой непроглядной темноте, кажется, что оно остановилось, — начинает чувствоваться холод. Держаться все тяжелее, тем более в одежде. Вроде бы плывем к берегу, а может, вообще барахтаемся на месте — не разберешь. Стараемся быть рядом друг с другом, хотя и это не просто: волна разбрасывает. Постепенно охватывает какое-то безразличие, движения становятся механическими, как во сне, руки и ноги — деревянными; наверное, вот так люди и тонут, переставая все ощущать. Пытаюсь встряхнуться, но снова наваливается цепенящая вялость. Доносятся обрывки слов — это говорит Тихомиров, а что — уже не слышу, не разбираю.

И тут неожиданно раздается, катится к нам по воде из близи гулкий металлический звук — так ударяет железо о железо. Он повторяется еще и еще, пробуждая волю бороться, плыть. Сразу поворачиваем на этот звук, я что-то громко кричу — по крайней мере, самому кажет-



ся, что громко, лихорадочно загребаю, отдавая последние силы, и почти в упор наталкиваюсь головой на возникающий стеной из темноты черный борт...

Дальше — почти полный провал: как нас заметили или услышали, как вытащили, что было в ту ночь потом, представляю плохо.

...Открыв глаза, увидел, что лежу в тельняшке и трусах возле дизеля. Он работает — недаром в тяжелом сне, от которого пробудился, все время метрономом стучало, словно возвращая назад память: «Та-та-та-та». На кожухе двигателя сушилась наша измятая, скорчившаяся форма. Сверху сочился сероватый свет. Кое-как одевшись, поднялся по короткому трапу на палубу, ее чисто выскобленные доски пахли дождевой свежестью, и на носу еще орудовал шваброй пожилой моряк в робе и бушлате. Хмурое утро только-только разгоралось, море поутихло, справа от нас в нескольких кабельтовых тянулась гористая линия берега.

— Ожил? — Подошел моряк, и по нашивкам на рукаве я увидел, что это старшина второй статьи. — На нашей посудине уже давно рыбу не ловили, а тут на тебе, какие киты попались...

— Где же мы сейчас?

— Больно скор спрашивать, — согнав ухмылку с лица, жестко ответил он. — Ты сперва сам ответь, каким это путем вы в море оказались. И вообще, что за люди. Между прочим, хоть и невелик я рангом, но здесь — командир.

Пришлось объяснять, и, кажется, старшина поверил, особенно после того, как я достал из приколотого под тельняшкой клеенчатого кармана комсомольский билет — он почти не пострадал.

— Ладно, спрячь. Если все правда, можешь считать, что вам повезло. Мы ведь как раз в Геленджик идем. Только отстали маленько от своей флотилии.

И он рассказал, что на сейнере уже почти на выходе из Туапсинской бухты остановился двигатель. («Моторист это у меня еще попомнит!») Пока чинили, потеряли час или около того, другие катера ушли. Наконец ремонт закончили, и тут-то матрос-рулевой крикнул: «Человек за бортом!» А оказалось, не один — двое, и оба мы, обессиленные, подняться сами по брошенному концу не могли. С трудом нас вытянули и сразу спустили к машине — отогреть; там мы и уснули...

— Теперь уж скоро придем на место, вот-вот будем

на траверзе Фальшивого Геленджика, — заключил старшина, отвечая на мой первый вопрос. — Придем, если, конечно, немец не помешает. Тыфу на него, не люблю загадывать в пути!.. Только не взыщите, как ошвартуемся, сдадим вас из рук в руки кому положено. Дело фронтовое, лишняя проверочка не помешает...

Он мелко засмеялся — то ли тому, как вышел из положения, то ли довольный, что показал свою власть, утер мне нос; кто знает, чему именно?

Однако все это — и проверка, и амбиция — уже не имело значения. Главное — мы догоняем своих, возвращаемся хоть и чуть позже, но вместе со всей командой. Действительно повезло...

В эскадрилье разбираться особенно с нашим опозданием не стали: пришел сейнер позже — и ладно. Тем более что полк получил приказ на боевую готовность № 1. Значит, вот-вот должно начаться наше долгожданное наступление и на Черноморском побережье.

Еще свежо было в памяти: ровно год назад, в такие же сентябрьские дни, загнанные в щель на Гайдуковском аэродроме, мы смотрели, стиснув зубы, как немецкие танки двигались к городу. Новороссийск они захватили, но дальше не прошли, крайний южный фланг всего советско-германского фронта уперся тогда в море за цементным заводом «Октябрь» и держался там до сих пор. Пора, пора нам и здесь идти вперед!

До командиров экипажей довели обстановку в районе Новороссийска, и, конечно, многое из этого сразу разошлось по «матросской почте» — от одного к другому. В черте города и порта, свидетельствовали разведанные, у немцев свыше пятисот различных оборонительных сооружений, на всех пристанях и молах установлены орудия, прикрывающие бухту многослойным огнем, вход в порт прегражден бонами и минирован...

В ночь на 10 сентября, ближе к утру, штаб дивизии приказал поднять в воздух с рассветом все наличные силы, и технический состав заранее вызвали к самолетам. Ночь тлела медленно, как самокрутка в рукаве (курить приходилось только так). Когда заметно стало светлеть небо над черной громадой горы, прикрывавшей с северо-востока наш аэродром, появились на стоянке и летчики. Все были охвачены нетерпеливым ожиданием наступающего дня и чего-то необычно значительного, что он должен принести. Это предчувствие заставляло бодрствовать даже самых отчаянных любителей «придавить

часок», которые умели в любой ситуации устроиться: солдат спит — служба идет...

Еще не пробился по-настоящему рассвет, но уже разнеслась весть:

— Наш десант в Новороссийске... Торпедами ударили по молам и прорвались в порт... Высадились прямо на причалы...

Так оно и было, хотя сначала это казалось невероятным: десант морской пехоты, сформированный здесь, в Геленджике, был за ночь доставлен прямо через Цемесскую бухту и неожиданно для врага в 3 часа обрушился на порт с его «непрístupными», как считали гитлеровцы, заграждениями.

В этой смелой операции участвовали и боевые катера и вспомогательные суда. Вот, значит, для чего спешили в Геленджик сейнеры из Туапсе!

Эскадрильи вылетели на поддержку десанта, который развернул тяжелые уличные бои. Одновременно наземные войска начали штурм Новороссийска, наступая от Приморского шоссе и с другой стороны бухты — от Малой земли. Чтобы прогрызть оборону врага, везде нужна была помощь авиации. И вернувшись, экипажи получали тут же новые цели — подавлять то на одном, то на другом участке боев батареи противника, огнем выкуривать гитлеровцев из дотов и дзотов, из зарытых в землю танков, из домов, превращенных в опорные пункты обороны. И еще — сбрасывать десантникам патроны, гранаты, продовольствие, для надежности только с бреющего полета. За вылетом следовал вылет. Лишь бы успеть проверить моторы, осмотреть вооружение, подвесить бомбы и «эр-эсы», залить бензобаки, уложить сполна боезапас. И все это — сразу...

Пять суток продолжался штурм Новороссийска. Каждый день проходил в таком ритме. Даже ночами на аэродроме напряжение почти не спадало: латали пробоины, приводили самолеты в порядок, готовили к новому утру; перевести дыхание было некогда.

— Вы как, обедали сегодня? — спросил после очередного вылета механика и меня командир эскадрильи Г. К. Бусыгин. Наверное, вид у обоих был соответственный вопросу.

Мы смущенно переглянулись:

— Пожалуй, это было вчера...

Капитан распорядился хоть что-нибудь из еды немедленно доставить на стоянку.

Этот безоглядный ритм боевой страды напомнил ту ночь в Гайдуке год назад, когда надо было во что бы то ни стало задержать прорыв гитлеровских танков в ущелье. Ритм, пожалуй, схож, но суть происходящего — она совсем иная: выпускаем в полеты не «утят», которые только от большой нужды приходилось считать военными машинами, а настоящие штурмовики, и преимущество в воздухе уже склонялось на нашу сторону, и главное — мы, мы сами теперь наступаем. Как бы ни было трудно, это же совершенно иное дело: видеть своими глазами, как выпрямляется судьба войны!

К утру 16 сентября весь район Новороссийска удалось очистить от врага — может, и верно, что все большие события происходят по утрам? Какую роль в освобождении первого города на юге сыграли штурмовики, теперь уже лучше судить по тому, что нашей авиадивизии в честь этого было присвоено наименование «Новороссийской», а много-много лет спустя после победы в городе подняли Ил-2 на пьедестал; памятник стал одним из новороссийских символов.

Войска продолжали теснить гитлеровцев дальше — к Тамани, Керченскому проливу, авиация флота переносила боевые удары западнее: по живой силе и технике отступавшего врага, его штабам и плавсредствам в Тамани, Темрюке, Сенной... Через несколько дней — тоже с помощью морского десанта при поддержке штурмовой авиации — враг был выбит из Анапы. Сразу же в полк поступил приказ: перебазироваться на ее аэродром — тот самый, который еще недавно мы бомбили и где меня зацепило над целью шальными осколками. Впереди был Крым.

Вылетев из Геленджика, оставшегося сразу далеко в тылу, взяли курс на Анапу. Но не по прямой, над морем, а так, чтобы поглядеть сначала на Новороссийск. Это было, пожалуй, не просто стремление увидеть, каким он стал, скорее нечто большее: душевная потребность прикоснуться к реальности победы. Первой большой победы на Черноморье!

«Илы» пролетели низко над портом с его разбитыми причалами, с горестно торчавшими из воды, словно могильные кресты, мачтами затопленных кораблей, сделали круг над всем прилегающим к бухте районом, и перед нами открылась панорама вымершего города — такими, наверное, предстают археологам раскопанные ими поселения далеких веков. Солнце высвечивало и будто укруп-

няло разрушения: мелькали то раскрытое сверху нутро дома, сохранившего лишь колодец стен, то скелеты вагонов у вокзала, то поникшие столбы с лианами оборванных проводов. Нечто подобное довелось видеть недавно в Туапсе, но тогда был вечер, темнота скрадывала детали, а здесь они предстали ярко освещенными, хорошо различимыми с небольшой высоты. Полное безлюдье при этом особенно усиливало картину смертельного опустошения.

В заднюю кабину штурмовика нас втиснулось трое, да еще пришлось погрузить кое-какое аэродромное имущество, так что было очень тесно и смотреть приходилось по очереди, каждому свой «кусочек». Но впечатления и реакция были общими. Глядели — молчали, а когда отлетели, чувства вырвались наружу.

— Совсем порушен город. И весь черный...

— Неужто по всей нашей земле, что еще под врагом, такая разруха?

— И сколько же это все поднимать придется, какие силы нужны!..

Самолеты заходили на посадку, под нами был анапский аэродром. На земле он показался мне больше, чем с воздуха тогда, при налете, — обрывавшееся у моря широкое поле уходило, чуть понижаясь, далеко к окраинным домикам городка. Первыми, кто нас встретил, едва штурмовик подрулил на подходящее для стоянки место, были солдаты-саперы; они орудовали длинными щупами-миноискателями, словно граблями.

— Остерегайтесь! — сказал, подходя ближе и назидательно подняв вверх палец, усатый сержант. — Фашист, он хоть и резво бежал, но не только добро побросал. Поле уже очистили, и тут скоро все прочешем. Тогда и располагайтесь, как дома.

— Мины, что ли, успели поставить?

— Обычным порядком, считай, заминировать не успели. Разве что землянки, там еще не прощупали. А набросали вот всякого — вроде консервов или коробочка какая, а то похоже на карандаш толстый. Но тонкая работа — только возьмешь в руки, хоп, оно и взрывается. Готов!.. Двое уже подорвались, из ваших же, больно вы быстрые, летчики. Так что говорю: остерегайтесь.

Совет пришелся кстати, мы передали его другим. За «подарками» никто не нагибался, не наступал на них — наоборот, если видели что-либо подозрительное, обходили стороной, и потерь у нас от этих хитрых мин-ловушек

больше не было. А вскоре саперы завершили свою работу, и можно было устраиваться на новом месте.

Заглянули в ближайшую землянку. У лежанки, аккуратно сделанной из сбитых ящиков, валялись какие-то тряпки, письма, обрывки газет. На столе сбоку рассыпана кипа журналов; взял один в руки — через всю страницу протянулся на снимке журавлиный клин «юнкерсов», сверху жирная вязь готики: «Блестящие победы «Люфтваффе». Ладно, что не совсем забыл после школы немецкий: эти громкие слова звучат здесь, на поспешно оставленном врагом аэродроме, саркастически и вызывают общий смех. Да, приятно увидеть вещественные следы бегства противника, подтверждающие, что перевал войны пройден. Новороссийск, несомненно, был у нас на юге ее «мертвой точкой» — так подброшенный камень замирает в высоте на мгновение, чтобы потом рухнуть вниз; правда, «мгновение» оказалось довольно долгим, но теперь-то уж точно покатила вниз гитлеровская сила. Вот и эти «блистательные победы» — в обрывках старых журналов, пожелтевших, словно трупы...

— И что вы тут застряли, что хорошего нашли? — заглянул в землянку грузный, широкий Владимир Козлов, недавний моторист, ставший старшиной нашей эскадрильи.— Фу, дух какой, аж нос воротит. Хочешь — не хочешь, а придется нам, братцы, новые землянки строить, свои. Очень, выходит, кстати, я здесь рядом лопатки нашел...

Что ж, строить, так строить — не в первый раз. Место себе выбрали почти у кромки высокого откоса к морю, чуть прикрытого голыми, словно обмолоченными кустами. Выход из землянки разметили прямо на запад. Там, за собиравшимися над водой сумерками, лежал Крым, там ждал нас Севастополь — черноморская столица, куда теперь летели мысли.



### «ДАЕШЬ КРЫМ!»

**Н**ачав действовать из Анапы сразу же после перебазирования, наш полк вместе с другими частями морской авиации помогал добивать врага на Тамани, наносил удары по косе Чушка, уходившей в Керченский пролив, как рука, вытянутая к Крыму, — через эту косу гитлеровцы пытались переправить отступающие дивизии. 9 октября Кавказское побережье было полностью очищено от врага, штурмовки переправ с воздуха помогли захватить много пленных, техники и других трофеев.

...Когда война приходит в движение, боевая операция отрешает от всего остального, но тем более дорого потом относительное затишье. Появляется возможность ввести в строй пополнение, принять новые самолеты и отремонтировать поврежденные, познакомиться с районом предстоящих действий. И вообще устроиться толком на новом месте, оборудовать землянки, помыться по-людски да

белье сменить — «почистить перышки орлам», как говорил наш старшина.

В те дни относительного затишья избрали меня секретарем комсомольской организации эскадрильи. Полковой комсорг Михаил Гурьянов, молчаливый — не по должности политработника, наставлял тихо и коротко:

— Ты не тушуйся. Главное сейчас что? Главное лозунг: «Даешь Крым!» От нас, значит, что требуется? Полная готовность. Вот и соображай, действуй, мобилизуй, прямо говоря. Собрание надо провести, беседы и прочее. Ясно? Составляй план — поможем...

Справедливо, что на войне только генералы да ездвые — люди пожилые. Ездвых в авиации, понятно, нет, а до генералов нам было куда как далеко — даже дивизией нашей командовал тогда подполковник Д. И. Манжосов. Кругом — народ молодой, почти все комсомольцы. Легко сказать: «мобилизуй», а как? Решил поговорить с Юсупом Акаевым, одним из лучших молодых летчиков, тоже комсомольцем. Он, хотя и пришел в полк лишь в Абаше, уже сам водил группы «Илов» на штурмовки — где большие потери, там люди быстро растут. У нас с ним как-то незаметно сложились доверительные, за рамками должностных, отношения. Что он посоветует?

Кавказское происхождение младшего лейтенанта Акаева — по национальности кумык, он был родом из Дагестана, — проявлялось, пожалуй, лишь в боевых полетах. Там он был нетерпеливым, взрывчатым, жестким, а на земле — всегда спокойным, по крайней мере внешне, и рассудительным. Говорил, что размышлял вслух:

— Вряд ли, знаешь, сейчас стоит собрание затевать. «Даешь Крым!» — каждый этого хочет, душой принимает. Только что пока для нас за этим призывом, от общих слов — какая польза? Просто шум, как от ветра в сухом русле. Вот будет приказ на операцию, тогда и соберем комсомольцев, тогда «Даешь Крым!» конкретно зазвучит. Лучше сейчас по звеньям пройдем — я с молодыми летчиками потолкую, ты — с механиками и стрелками, чтобы даром время не теряли, как того командир требует...

— План работы надо составлять, в полк доложить, чем по комсомольской линии подготовку обеспечиваем.

— Ну, раз надо, куда денешься. Вот все это и вставь туда, в свое обеспечение, — говорит серьезно, а глаза смеются. — Собрание или, может, митинг тоже запиши;



в плане стоит указать, чтоб по форме ажур был, а дело — оно само покажет, война покажет.

Через несколько дней война действительно нам «показалась». В ночь на 1 ноября началась Керченско-Эльтигенская операция, и события вновь захлестнули всех. В ту ночь десантники высадились на крымском берегу южнее Керчи — у рыбацкого поселка Эльтиген. Они сумели захватить небольшой плацдарм — всего километров пять по фронту и до двух километров в глубину. Гитлеровцы вели по этому «пяточку» непрерывный артиллерийский огонь, бомбили, простреливали его насквозь и, подтянув танки, волна за волной шли в контратаки. Новую «Малую землю» назвали поэтому «Огненной землей».

Штурмовая авиация, в том числе и наш полк, прикрывала плацдарм, и десант держался. В эскадрилье на митинге, который проводили командир и парторг, зачитали телеграмму Военного совета 18-й армии — ее стрелковая дивизия высадилась у Эльтигена: «Передайте летному составу, поддержавшему нас в бою за восточный берег Крымского полуострова, спасибо от пехоты нашей армии. Летчики оказали нам очень большую помощь в отражении 37 контратак противника с танками, которые враг предпринял в течение двух дней».

Со 2 ноября, собрав в близлежащих портах Керчи, Феодосии, Камыш-Буруне свои корабли — быстроходные десантные баржи, тральщики и особенно торпедные катера, противник установил плотную блокаду Эльтигена с моря. И хотя на следующую ночь северо-восточнее Керчи был высажен наш новый, более мощный десант с основными силами операции, положение эльтигенцев продолжало ухудшаться. Боеприпасы и продовольствие приходилось теперь сбрасывать сюда с воздуха, подкрепления доставлять не удавалось. А вражеские атаки накатывались все с большим ожесточением: во что бы то ни стало немцы хотели сбросить десант в море. Постепенно, но, казалось, неотвратимо «Огненная земля» стала сжиматься. Чтобы удержать плацдарм, надо было прежде всего выбить из пролива гитлеровский флот, прорвать блокаду. Крупные корабли подойти сюда, на мелководье, да еще в район, простреливаемый с крымского берега, не могли; дело снова было за авиацией.

Нашей дивизии выпало штурмовать Феодосию, где под плотным зенитным щитом противник сосредоточил отряд торпедных катеров и БДБ — эти низкобортные,

живучие, беструбные корабли с пятидюймовыми пушками и зенитками на борту были специально построены в свое время для вторжения в Англию и неизвестно почему, может быть для маскировки, названы тогда баржами. Днем они отстаивались у причалов, ошестинившихся «эрликонами» — скорострельными зенитными автоматами, а ночами выходили в Керченский пролив. Первые же вылеты показали, что бить в порту по таким кораблям очень трудно. БДБ и зенитки с причалов устанавливали перед самолетами завесу огня, не давая подойти для прицеливания. А в торпедные катера, маневренные «люрсены» — тем более попробуй попади! Летчики бесстрашно пикировали до высоты четырехсот метров (это была установленная граница, ниже считалось — верная гибель), но в самую последнюю секунду, пока падали бомбы, катер успевал отвернуть в сторону. Налет за налетом не приносили заметного успеха, на аэродроме становилось все больше пустых капониров. Летчики ходили хмурые, кто-то даже пустил в оборот такое определение: «полеты смертников». Когда об этом стало известно капитану Г. Н. Кибизову, замполиту полка, которого по привычке еще называли комиссаром, он собрал коммунистов и комсоргов эскадрилий:

— С упадническими настроениями надо кончать! Давайте принимать меры...

Горечь и боль рождали не столько потери, которые на войне неизбежны, сколько их видимая бесполезность. Особую злость вызывала вражеская листовка, сброшенная над расположением дивизии. «Бить с воздуха по немецкому торпедному катеру, — издевались гитлеровцы, — все равно что из пистолета стрелять по блохе».

— Ну подожди, мы тебе покажем блоху! — горячился темпераментный младший лейтенант Александр Гургенидзе. — Мы тебе подкуем блоху!

— Подковать — для этого нужно умение Левши, — охлаждал его пыл командир эскадрильи. — А мы пока действительно не умеем топить катера. Но научимся, должны!

Только теперь, на переломе войны, морская авиация возвращалась к ударам по своим основным целям — кораблям, а опыт был или потерян, незнаком новому поколению летчиков, или нужен был совершенно иной. В штабе дивизии и полках искали, обдумывали новую тактику воздушной атаки. Хотя до аэродромных «низов» доходило очень немногое, участвовавшие в вечерние часы

занятия летного состава и вылеты на оборудованный неподалеку учебный полигон подсказывали: что-то готовится.

Ранним утром одного из тех дней Юсуп Акаев, едва появившись на стоянке эскадрильи, неожиданно предложил:

— Давай-ка, комсорг, слетаем с тобой сегодня на Феодосию. Если, конечно, боевая работа будет. Судя по погоде, думаю, скоро дадут вылет. Согласен?

Еще бы не согласен; да я столько ждал такой возможности! Даже в жар бросило от неожиданности. Но как же это?..

— Я стрелка вашего только что видел — он вроде бы сам готов. Со шлемофоном и комбинезон уже натянул.

— Знаю. Да не в этом дело, мы с ним еще налетаемся. Есть тут идея, и командир ее одобрил.— Юсуп как-то загадочно улыбнулся.— Наперед рассказывать не хочу, считай, что из суеверия.

За приметы держатся в эскадрилье многие... Однако и другая примета известна: боевой рейс с «чужим» стрелком, будь то хоть сам начальник связи полка, удачи не сулит. Так что о суеверии — это Акаев скорее всего заливает. Но, если не шутит о главном — что полетим на задание, то остальное мне все равно...

Как и предполагал Юсуп, облачность поднялась, и мы взлетели большой группой — всеми наличными экипажами эскадрильи. Опять туда же — на Феодосию. Ушли в море, набрали высоту... Далеко видно отсюда, и везде, насколько хватает глаз, — водная равнина. Утомительно однообразен и наш полет: ровно гудит мотор, справа и слева, словно привязанные, выстроились «Илы». Бегут, равномерно бегут минуты, ничего не происходит. Смотрю на море, оно кажется с этой высоты равнодушным, лишенным той жизни, которую придают ему волны, выстуженным. Невольно трогаю застегнутую на груди «капку» — резиновый жилетик, осмеянный полковыми острословами, как совершенно лишний, но обязательный для каждого в морском полете: соприкасаясь с водой, «капка» надувается автоматически. Да, море хорошо с берега и не в такой холод. Но к чему сейчас эти мысли, прочь все, что отвлекает, вот-вот мы выйдем на траверз Крыма...

Наконец разворачиваемся и, пересекая лобастый срез берега, летим дальше над крымской землей. Командир решил атаковать базу с тыла, гитлеровцы, скорее всего, привыкли к штурмовкам со стороны моря, изготовились.

Ожидание, копившееся долгое время полета, стало предельно острым, наполняя сознание азартом, жадной боевой удачи.

— Атака!..

Феодосийский порт — вдали перед нами. Перегибаясь через борт кабины, на мгновение окидываю взглядом смутные очертания бухты. Наш «Ил», словно с горы, скользит вниз, набирая скорость. Еще вижу, как, перестроившись, заходит вслед другая группа, и тут же на меня опрокидывается небо над задранном хвостом — пикируем.

Вот теперь нас заметили с земли: вокруг все гуще ложатся разрывы, заполняя воздух, но самолет рвется прямо в это пекло по невидимой нити боевого курса, только угол атаки становится все круче...

У меня сохранился фотоснимок, сделанный с большой высоты замыкающим группы, — только такая «визитная карточка» штурмовки и могла служить подтверждением ее результатов. Вдоль полукруга береговой черты с раскрытыми, без крыш, коробками зданий и нагромождениями развалин — свидетельствами прежних бомбежек, кучно поднялись, затянув причалы, дымы — местами белые, похожие на распушенную вату, местами темные, как грозовые тучи, готовые вспыхнуть огнем. В северной части порта, оставшейся в стороне от нашей атаки, отчетливо видны у пирса три пришвартовавшиеся БДБ. Да в акватории бухты — расходящиеся, еще пенящиеся круги от бомб, которые явно легли «в молоко», мимо. И лишь ближе к центральному причалу разгораются робкие язычки пламени на окутанном паром корабле, класс которого трудно определить... Уж не помню точно, как было после возвращения, но, наверное, по этой съемке в штабе без скидок на сомнение могли зафиксировать всего одно прямое попадание.

...Едва картина порта на выходе из пикирования промелькнула перед взором единым кадром со всеми своими пирсами, катерами, баржами и пунктиром «Илов» в порябевшем от разрывов небе, как в шлемофоне резко прозвучало:

— Внимание, воздух! Над морем «мессеры»!

На фоне светлого облачка их заметили с самолета, который, тоже отбомбившись, уже приближался к нам, скользя над водой. Теперь и я разглядел силуэты «худых»: крылья с небольшой стреловидностью, словно обрубленные на концах, овальный фюзеляж, как у осы... Они шли

выше параллельным курсом — наверное, сторожа момент, когда, сбросив скорость после пикирования, штурмовики окажутся удобной целью для атаки.

Едва развернул турель к правому борту, как «мессеры» один за другим, будто сложившись, ринулись с высоты и почти сразу открыли огонь. Акаев резко бросил машину в сторону, и их трассы прошли мимо. Поймав в раскачавшийся прицел ведущего и на глаз установив малое опережение, я тоже жал и жал на гашетку пулемета. Били по врагу также стрелки двух других «Илов», подошедших ближе, и, как потом выяснилось, бил из пушек летчик еще одного — отойдя от цели, он увидел «мессера» выше прямо перед собой... Ведущий этой пары вдруг дрогнул, будто натолкнулся на стену, повернул по какой-то ломаной кривой и, оставляя за собой черный шлейф, неестественно спотыкаясь, потянул к берегу. Второй немец, выпустив еще очередь и получив ответные, не стал дальше искушать судьбу — тоже ретировался.

— Сбили! Одного сбили, Юсуп! — доложил я по внутренней связи, стараясь скрыть возбуждение и казаться спокойным, но чувствуя, что голос этому не поддается.

— Сбили? Еще не факт, — отвечал Акаев. — Может, и в самом деле пошел помирать, а может, и сядет. Но вот мы кого-то явно не досчитываемся.

За те же скоротечные мгновения боя он успел осмотреться и понять гораздо больше меня.

Когда эскадрилья собралась и, взяв обратный курс, отошла от крымских берегов, я тоже увидел, что одного самолета нет.

— Прямое попадание перед целью, — доложил замыкающий группы.

— Падение видели?

— Возле порта. Упал и взорвался...

Что тут скажешь? Остается только горестно помолчать. Мне и послышался общий вздох — долгий, тяжелый, а возможно, даже не послышался, родился внутри меня самого... Да, дорого обходятся штурмовики Феодосии!

Об этом и заговорил со мной Юсуп Акаев вскоре после возвращения на аэродром. Рассказал, что командование намерено уже в ближайшие дни испытать в бою более совершенную тактику ударов по кораблям. И у нас, и в соседнем 8-м гвардейском полку начали отрабатывать новый способ — топмачтовое бомбометание. Это подобно действиям торпедоносцев: пикируя, самолет выходит впритирку к волнам на бреющий полет; сброшенные

перед самой целью бомбы, получив от большой скорости машины огромную силу инерции, горизонтально ударяются о воду, рикошетом отскакивают и, подобно торпедо, но только по поверхности, скользят к борту. Самолету остается лишь, опережая взрыв, буквально перескочить через мачты корабля, отчего этот способ и получил название топмачтового. Ну а нашей эскадрилье поручено подготавливаться к групповой штурмовке с малых высот.

— Значит, пикировать еще ниже? Ниже, чем сегодня?

— Вот именно. И не одиночно, а группой, чтобы бить по катерам наверняка.

— А зенитный огонь? — не удержался я. Картина нашего прорыва в Феодосийскую бухту сквозь густой обстрел невольно стала перед глазами.

— Зенитки, наверное, будет подавлять другая, специально выделенная группа. Что-нибудь вроде «звездного» налета получится, так я думаю. Но все это еще надо проверить, отработать...

Посмотрел на меня внимательно, ожидающе. К чему же все-таки он клонит? Новая тактика — явно по командирской части.

— Помнишь наш разговор о собрании? Вот теперь настало время его провести. Парторг предлагает собрать коммунистов и комсомольцев вместе, командир тоже так считает. «Моя,— говорит,— записка, а вы, комсомол, раскручивайте дальше». Раскручивать, значит, нам обоим. Ясно теперь, почему стоило тебе в Феодосию слетать? Чтобы своими глазами все увидел да никто сказать не мог — дескать, хорошо ему с земли советовать. Вот так, и никакого суеверия!

Через день выдалась нелетная погода. Просидев до вечера без толку у самолетов, мы собрались в землянке командного пункта эскадрильи. Принесли два аккумулятора, но маленькие лампочки не разогнали полумрак по углам, хотя после коптилок из снарядных гильз, привычных для каждого, сияли торжественно, как с новогодней елки.

— Всем известно, какое сложилось положение с поддержкой десанта,— без предисловия начал капитан Бусыгин.— Мы должны помочь Эльтигену подавить немецкие БДБ и катера, которые еще хозяйничают в проливе. Пока это не очень-то получается. Вчера и позавчера опять летали на Феодосию, потеряли еще экипаж, привезли пробоины, а успеха настоящего снова не добились. Расскажу вам притяжку — прямо про нас...

Комэск любил говорить афоризмами, и все ждали, что он сейчас выложит. А Бусыгин, сделав паузу, поднял крупную руку и стал отсчитывать, загибая пальцы:

— Слетанность нам нужна, чтобы от «мессеров» защищаться; внезапно напасть — тоже большое дело; без умного маневра — зенитки собьют в два счета; бояться будешь — скорее погибнешь... Ну а пятое что? — Он выразительно стал вертеть большим пальцем. — Смотрите, это как раз главное: все умеем, всему обучены, но не попадаем, и грош нам цена!

Капитан сделал паузу, словно давая собранию осмыслить этот неожиданный вывод, и, сменив тон, деловито перешел к характеристике нового метода — группового бомбометания с высот порядка 150—100 метров.

— Дело опасное, трудное, смелое, — заключил он. — И настроиться на него надо всем, не только летчикам. Стрелки, техники, вооруженцы тоже должны понять: работать теперь придется на новом уровне надежности...

После командира взял слово агитатор полка — была тогда такая должность — капитан Н. А. Кузнецов, пришедший на собрание, а может, специально посланный замполитом:

— Мне тут интересный факт попался, очень к нашему разговору подходит. Оказывается, еще в гражданскую войну, изучая применение авиации против конницы белых, Владимир Ильич Ленин обращался к ученым, просил составить инструкцию. И написал, ставя исходную задачу, — послушайте: «Полет совсем низко...»

— Ну хватил, Николай Александрович, — усмехнулся Бусыгин. — Да тогда и зенитки-то, может, наперечет были, а клинком даже «фарман» не собьешь!

— Вот-вот, я и говорю, — заторопился Кузнецов. — Это когда еще было! В 1919 году, на заре, можно сказать, военной авиации. А теперь, на грозных для врага «Илах», чтобы наши славные соколы да этих малых высот испугались!..

— Распетушился. Слетал бы сам на Феодосию, — буркнул кто-то в углу.

Полковой агитатор — это всем было известно — прямого отношения к авиации до призыва из запаса не имел, среди нас, молодых, считался уже пожилым: сам он действительно не летал. Но был человеком образованным, интеллигентным, готовым взяться за любое дело. Пожалуй, не заслуживал он этой жесткой реплики, если бы

не его бодряческий тон. По землянке прошелестел легкий шумок.

— А что?! Я полечу, если надо, в любую минуту! — с достоинством отвечал Кузнецов. — Как и каждый из вас. Только разве во мне дело? С таких героев, как Борис Воловодов, пример надо брать...

Воловодов был командиром другой, соседней эскадрильи нашего полка, которая выполняла задачу непосредственной поддержки десанта у Эльтигена. Подтянув еще танки и артиллерию, гитлеровцы остервенело атаковали, чтобы ликвидировать этот плацдарм и затем всей силой навалиться на основной десант возле Керчи. Летчики видели, как тяжело приходится эльтигенцам, на поле боя то и дело завязывалась рукопашная. Незадолго до нашего собрания случилось так, что после очередной штурмовки Воловодов заметил группу «Юнкерсов-88», которые заходили на позиции десантников. Защищать их было некому — ни одного советского истребителя прикрытия в небе над плацдармом. Командир эскадрильи без колебаний повернул «Илы» навстречу бомбардировщикам, рассеивая их плотным лобовым огнем. Но вот кончился боезапас, поизрасходованный во время штурмового удара. И тогда Воловодов твердой рукой направил свою машину на головной «юнкерс» и таранил его. Объятые пламенем оба самолета упали на берегу...

Имя Воловодова повторялось еще не раз на нашем собрании, и, соседствуя с ним, даже привычные митинговые обороты, вроде «не жалея крови и самой жизни» или «нанесем смертельный удар по врагу», получали отнюдь не выпреннее звучание. Все летчики, выступая, подводили к одному: ждать некогда, новую тактику освоим в бою!

— Между прочим, напомним, если забыли, что именно на малых высотах у «Ила» максимальная мощность передается на винт, — сказал старший техник эскадрильи. — Так что сама техника это нам диктует.

И уж совсем здорово под общее настроение выступил Ефим Удадьцов — признанный балагур и действительно, в полном согласии с фамилией, удалой летчик:

— Теперь придется подольше идти в огне до этих самых малых высот, но все вместе выдюжим, факт! Зато какой результат: командира катера бомбой прямо в правый глаз! Предлагаю записать: мы все — за. А еще записать, что клянемся гитлеровские катера да баржи из Феодосии выкурить...



После этого мне показалось излишним повторять цитату, заготовленную полковым агитатором, как он пояснил, «специально для тебя, комсорг, чтобы забить последний гвоздь». Хотя смысл ее — «Комсомол должен быть самой жизнедеятельной, жизнеупорной и целеустремленной частью молодежи, у которой цель одна — разбить врага» — очень подходил к нашему собранию, но разве слова эти что-нибудь добавляли? А капитан Кузнецов уже выразительно помахивал мне ладонью: дескать, давай, закругляй. Выручил снова Юсуп Акаев:

— Хорошо сказал Удальцов, лучше не придумаешь. Если никто не возражает, так и запишем.

На дальнейшую отработку тактики группового удара с малых высот война не оставляла времени. Командир приказал подготовить первый такой вылет в самый короткий срок.

А на следующий день в дивизии поздравляли наших соседей — штурмовиков гвардейского полка, которые испробовали в боевых условиях топмачтовое бомбометание и сразу же потопили в Феодосии несколько торпедных катеров, вернувшись без потерь. Подробности мы еще не знали — было лишь известно, что вел группу Николай Пысин, часть ее атаквала корабли, остальные прикрывали эту стремительную атаку огнем.

Пысин прибыл к нам на Черноморский флот только перед боями за Новороссийск, но быстро завоевал авторитет не в одном своем полку — во всей дивизии. Московский токарь, он, закончив летное училище, три года прослужил на Дальнем Востоке в подразделении морских воздушных разведчиков. Перед войной вступил в партию. На действующий флот его отпустили лишь после многих рапортов, и на штурмовик с морских летающих лодок пошел он добровольцем...

Обычно даже такие скудные сведения дальше адъютанта и писаря эскадрильи не идут; чтобы они распространились, надо возбудить к себе интерес — понятно, тем, как воюешь. Пысина, возглавлявшего поначалу звено, быстро признали асом: он был среди тех, кто летал вместе с командиром 8-го гвардейского полка Николаем Челноковым на ночные штурмовки; ходил в море на «свободную охоту» и потопил несколько кораблей; был сбит над водой, когда развернулось сражение за Тамань, но, обожженный, раненый, сумел отплыть от берега, занятого врагом, после долгих мытарств по счастливой случайности был подобран нашим катером и остался в строю.

Да, о Пысине мы были наслышаны, а теперь на его боевом счету добавилась еще победа, одержанная благодаря новой тактике.

— Может, и нам, Геннадий Кузьмич, лучше, не мудрствуя лукаво, перейти на топмачтовое? Раз такой успех? — спросили Бусыгина летчики.

— Спешить знаете когда надо? Правильно, при ловле блох — настоящих, а не фигуральных, — отвечал он. — А мы серьезным делом заняты. Что лучше, время покажет; думаю, лучше всего бить врага со всех сторон и по-разному.

Настала очередь испытать в Феодосии новую тактику боя и нашей эскадрилье. Командир разделил ее на три группы. Самые опытные во главе с ним самим наносили удар по кораблям, снижаясь до предела, когда, в последний момент сбросив бомбы, еще можно вырвать машину из пикирования и не подорваться на взрывах. Вторая группа бомбила порт с обычной высоты, но тоже без интервалов, не поодиночке, как прежде, а в развернутом строю, отвлекая внимание от основного кинжального удара. Самолеты же третьего эшелона, заходившие по своему курсу, наоборот, растянулись один за другим — они подавляли главные очаги зенитного огня, держа их под бомбами и обстрелом в решающие минуты налета. Сверху этот «трехслойный пирог» прикрывали от воздушных атак истребители. В результате вся вражеская оборона оказалась дезорганизованной. Эскадрилья возвратилась в Анапу без потерь, а врагу нанесен был большой урон — потоплены БДБ и три торпедных катера.

Мне, увы, довелось увидеть это только на фотоленке — ни разговор с Акаевым, ни обращения к командиру со ссылкой на комсомольское собрание не помогли. Не разрешил он взять меня в полет, боевое расписание для него составлялось с особой строгостью.

— Значит, «подковали блоху»?! Точно ты предсказал! — подмигнул кто-то Александру Гургенидзе, когда тот, зарулив последним, подошел к штабу, где уже собралось немало народу. — Чем теперь порадуешь, товарищ пророк?

— Это, понимаешь, вообще-то не моя специальность, — подхватив тональность, отвечал тот. — Но, если так уважаешь, сказать могу точно. Полетим снова и еще этих самых гитлеровских «блох» нащелкаем. Сами побегут из пролива...

Следующие два дня как будто подтверждали его слова: несколько вылетов на Феодосию и Камыш-Бурун силами штурмовых полков дивизии были снова успешными. Но уже надвигался декабрь, словно нарочно, полили долгие холодные дожди, и летное поле превратилось в месиво грязи. Иногда самолеты просто не могли подняться. А положение в Эльтигене становилось все тревожнее — гитлеровцы обрушили на заметно сжавшийся плацдарм новые удары. Без подкреплений, на жестком пайке сбрасываемых с воздуха боеприпасов, истощенные непрерывными боями, полуголодные, десантники держались из последних сил, нанося врагу, который отжимал их к берегу, большие потери.

Рано утром в оба штурмовых полка дивизии поступил приказ на срочный вылет. Стало известно, что ночью, получив «добро» с «большой земли» и по счастью эвакуировав тяжелораненых — два наших катера сумели огнем проложить себе путь сюда через блокаду с моря, — полторы тысячи эльтигенцев пошли на прорыв. Они смяли боевое прикрытие врага и, совершив по их тылам двадцатикилометровый марш, к утру захватили гору Митридат на окраине Керчи. До основного десанта теперь было совсем недалеко, но сил для нового прорыва уже не оставалось, тем более что рассвело и противник перешел в контратаки. Штурмовикам предстояло прикрыть огнем измотанных до крайности эльтигенцев.

Хотя за ночь земля немного подмерзла, нагруженные машины разбегались с трудом, будто нехотя, и, натужно форсируя моторы, отрывались лишь на самом обрыве к морю. Один из «Илов», не справившись с этим тяжелым взлетом, ухнул вниз прямо на омытые волнами скалы — загромыхали взрывы... Но остальные — группа за группой — уходили к берегам Крыма.

На сей раз я летел воздушным стрелком с Ефимом Удальцовым — помог опять Юсуп Акаев. Сам он был перед тем ранен и, показывая китель, говорил: «Оставляю его на память, видишь сразу две дырки: одна для ордена за эту штурмовку с малых высот, а другая — след осколка...» Залечивать рану он остался в эскадрилье и, видно, чувствовал по нашим разговорам, что трудноато дается мне общение с молодым летным пополнением, когда мы разделены совсем иной мерой опасности. Он сам обратился к ведущему группы Удальцову, чей воздушный стрелок младший сержант Калинин тоже выбыл из строя по ранению:

— С тобой просится пойти наш комсорг. Если не против, я доложу командиру.

Итак, мы летели к Керченскому проливу, однако наше задание было связано не с огневой поддержкой десанта и вообще даже не с горой Митридат — туда нацелили летчиков других подразделений. Группа шла для удара по катерам на Камыш-Бурун, ближайший к Керчи порт их сосредоточения. Ясно: чтобы снять эльтигенцев с нового «пятачка», надо заставить вражеский флот уйти из пролива. Когда в штабе нам ставили задачу, подумалось: в чем-то и я стал разбираться теперь, после нескольких вылетов, и на все смотреть куда шире, чем раньше...

С высоты Камыш-Бурун, сгрудившийся вокруг небольшой бухты, показался похожим на птицу с раскинутыми крыльями. Но разглядеть порт не удалось: вся группа вышла прямо с маршрутного на боевой курс и сразу попала под сильный обстрел. Наверное, он был слабее, чем в Феодосии, однако мы так долго, казалось, пикировали в разрывах, что пропал счет времени; будто оно остановилось и уже ничего больше не существует, кроме этого воющего, затянувшегося падения, влекущего в огневую купель. Предательски екнуло сердце: «Уже сбиты...» — и где-то глубоко зашевелилась темная мысляшка: «Если останусь жив, не буду больше сам так испытывать судьбу». Но вот бомбы пошли, мы резко вынырнули над водой, и, распрямляясь у турели, я услышал азартный голос Удальцова:

— Добавь им еще жару!

Сила стремительного разгона уносила нас от порта, самолет разворачивался влево, и, в короткие секунды охватив взглядом причалы, накрытые взрывами, я успел послать туда несколько очередей, а потом перенести огонь на корабль у выхода из бухты — это была БДБ, с нее тоже стреляли. Осколки с сухим треском, перекрывшим гул мотора, стеганули нам в хвост — разодрали с правой стороны обшивку, ключья ее мелко повисли, как листья на ветру...

Удар вдогонку был последним — вырвались, вырвались из зоны обстрела! Теперь можно перевести дух, осмотреться. Шестерка «Илов» шла вся — значит, никто не сбит; шла еще вразброс, но подтягиваясь к нам; ближний самолет тоже был потрепан. А позади над портом растекались дымы. Стало необыкновенно весело, легко внутри, словно и не было того мгновения отчаянной слабости.

— Ну как тебе эти малые высоты? — спросил командир.

— Если честно, хлебнул немного страха. Только там — над самой целью.

— То-то и оно. Зато теперь знаешь сам, как они даются...

«Фотографа» у нас в группе на этот раз не было, но посланный следом разведчик Пе-2, по обиходному фронтовому названию «Пешка», подтвердил: уничтожены два торпедных катера, один поврежден.

А еще через несколько дней из данных, переданных каким-то способом крымскими партизанами, стало известно, что в Камыш-Буруне при одном из налетов штурмовиков убит командующий гитлеровским флотом на Черном море вице-адмирал Казарицки, который прибыл туда для раздачи наград. Летали на этот порт многие экипажи из полков нашей дивизии, и каждому было лестно думать, что, может, это как раз он причастен к возмездию, постигнутому фашистского адмирала.

За две ночи — к 11 декабря флоту удалось вывезти десантников из района горы Митридат. Так завершилась эта полуторамесячная эпопея, сыгравшая свою роль: отвлекая крупные силы врага, эльтигенцы в жесточайших боях нанесли ему большие потери и помогли основному десанту укорениться на плацдарме северо-восточнее Керчи, который стал первой частицей освобожденной крымской земли.

Отрабатывая новые тактические приемы, наш полк продолжал наносить удары по морским целям. Опыт подтвердил, что бомбометание группой с малых высот эффективнее для атаки флота в портах, а топмачтовое — по кораблям, особенно одиночным, в открытых водах, и дивизия приняла на вооружение оба способа. Однако летали теперь реже: чем дальше в зиму, тем все больше мешала погода — то дождь, то даже снег и видимости никакой.

В один из таких дней, когда вылеты были отменены, меня, только что принятого кандидатом в члены партии, и еще троих из нашей эскадрильи вызвали в политотдел. Он располагался километрах в четырех от аэродрома, занимая помещения бывшей совхозной конторы. Мы шли по вязкой, раскисшей дороге, и с каждым шагом на ногах повисали гирями пудовые комья грязи. Свернули через виноградники — идти все равно тяжело, но так хоть напрямик. У ограды из колючей проволоки броси-

лась в глаза покосившаяся табличка с надписью на трех языках: «Румынам и русским вход запрещен!»

— Вот он, фашистский характер: во всем должен быть порядок,— заметил лейтенант Виталий Остапенко, один из наших молодых летчиков.— Даже союзникам указали письменно на их место: знай, дескать, свой шесток.

— Хотели, видать, урожай отправить в Германию, не иначе. Да не успели даже собрать, гроздь вон висят.

— Между прочим,— продолжал лейтенант,— в Феодосии нас тоже хотели своим «порядком» обмануть. Вчера командир рассказывал: после налетов гитлеровцы подтягивали ночами катера из других портов и расставляли на место потопленных; мол, летайте — не летайте, наша сила в полном порядке, листовочкой вас тоже об этом известим; так что не надейтесь на успех, считайте лучше собственные потери...

— Откуда же это стало известно?

— Думаю, партизанская разведка работает, скорее всего она. Теперь штаб вносит некоторые поправки, с плюсом, конечно, в боевые счета.

...После вручения кандидатской карточки, поздравляя, начальник политотдела сказал мне:

— Зайди-ка еще рядом, в редакцию. Передай Лагошному, что я послал. И напиши для нашей газеты о комсомольцах эскадрильи, договоришься с ним подробнее. Можешь считать это первым партийным поручением.

«Дивизионка» — краснофлотская газета «За победу» у нас была маленькой, в четверть обычного газетного листа, но ценилась высоко: другие газеты доходили в части редко, а здесь и сводку Совинформбюро прочтешь, и про боевую жизнь своей дивизии узнаешь.

В редакции меня встретил плотный, чуть лысеющий старший лейтенант с приятными чертами лица; сразу вспомнилось, что уже видел его как-то в эскадрилье, а фамилию — в газете.

— Владимир Лагошный.— Выслушав меня, он счел тем не менее нужным представиться.— Вот тебе место, бумага, садись и пиши.

— Прямо сейчас?

— Ясно, сейчас. Мы как раз верстаем номер...

И, чтобы отогнать мою робость, он придвинул к себе лист бумаги и крупно вывел заголовок: «Так бьют врага комсомольцы».

Небольшая заметка доставила мне много мук, но

в конце концов что-то получилось. Назывались имена молодых летчиков, отличившихся при штурмовках вражеских кораблей в «одном из крымских портов», приводились цифры потопленных торпедных катеров и БДБ. И еще кратко рассказывалось, как мы посетили под Анапой место, где работает Чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов,— там раскрыто захоронение сотен людей, зверски убитых захватчиками. «Глядя на эту страшную картину,— оканчивалась заметка,— летчики-комсомольцы эскадрильи поклялись отомстить гитлеровским душегубам, усилив удары с воздуха по ненавистному врагу».

Понятно, я не мог тогда даже предполагать, что эта скромная корреспонденция, рождавшаяся с таким трудом, станет провозвестницей моего журналистского пути, а наша маленькая дивизионная газета — моей будущей военной судьбой.

...Приближался Новый, 1944 год. Решили встретить его как следует: прибрали и украсили свою землянку, запасли консервов, а наш всемогущий старшина превзошел самого себя, раздобыв вина и толстый плиточный американский шоколад.

Собрались, когда уже наступила ночь. Разгоревшаяся печка дышала теплом, домашним уютом, и все чувствовали себя торжественно. Еще бы: лишь давным-давно, в другой, довоенной жизни отмечали так новогодний праздник. А главное — верили, что наступающий год повернет войну к концу. И конечно, первый тост: «За нашу победу!»

Через несколько минут открылся люк и ввалился моторист Вишневский. Раздеваясь на ходу, он заговорил еще с трапа:

— По радио сейчас передали речь Михаила Ивановича Калинина, новогоднюю, стало быть. Сказал, что в 44-м Красная Армия нанесет врагу сокрушительный удар и полностью очистит нашу территорию!..

Это еще больше подняло настроение. Пошли воспоминания, разговоры, зазвучали песни. Гитара переходила из одних рук в другие, и кто-то спел, переиначивая известные слова:

Крым за морем близко,  
Да трудны дороги.  
На аэродроме —  
оттепель опять.  
Тает снег в Анапе,

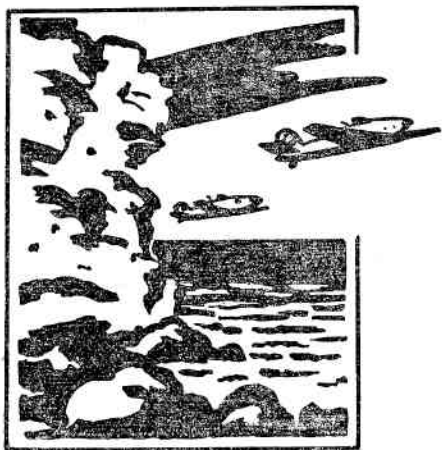
тает в Таганроге...  
Эти дни когда-нибудь  
Мы будем вспоминать.

Сосед задумчиво добавил:

— И не только мы, кто воюет, будут вспоминать. Ведь факт, братцы: историю этой войны придется учить многим поколениям. «А теперь расскажите, пожалуйста, об освобождении Крыма. Когда это было — в 1944-м?..»

Думать, что про нас станут «учить», было смешно, но приятно.





## ДОРОГА К СЕВАСТОПОЛЮ

**Е**ще и года не минуло с той поры, когда меня перевели в 47-й штурмовой авиаполк, а уже далеко в прошлом осталось время «утят». Вспоминая, как ночь за ночью провожал их в звездную темень, и сопоставляя с «Илами», невольно задумывался: почему же мы оказались поначалу такими слабыми, не готовыми к настоящей войне? Ведь смогли же переломить ее ход, но отчего только теперь, не раньше? И не находил ответа...

Говорят, год войны засчитывается за два, а надо, может быть, и больше. Прошедший, 1943-й, казался необозримо долгим, столько перемен он вместил. И конечно, не только в боевой технике. Однажды утром, бреясь в землянке, куда накануне притащили аккумулятор, разглядел при электрическом свете морщины на исхудалом лице: они густо протянулись по лбу. Мы старели, хотя в 21 год о таком даже думать смешно, считалось — мужали.

Мужал и наш молодой полк, набирался опыта, которого вначале столь не хватало морским штурмовикам. Многому уже война научила, но боевые возможности «Илов» еще не были исчерпаны, и летчики отрабатывали новые тактические приемы. Теперь эскадрильи вылетали главным образом для ударов по крымским портам, ставшим опорными пунктами врага в его стремлении превратить полуостров в неприступную крепость на Черноморье. Однако штурмовики — самолеты ближнего боя. Баки заливали по пробку, меняли режимы полета, но это не помогало достигать отдаленных точек Крыма, чего требовала обстановка. Сухие цифры расчета определяли дальность, за ней — красная черта на карте: предельный радиус действия. И выиграть надо было порой лишь несколько десятков километров, несколько минут летного времени. Но как это сделать? Мотору необходимо горючее, его ничем не заменишь.

Заменить нельзя, а увеличить запас бензина? Об этом, оказывается, по просьбе командования думали и конструкторы — они разработали систему дополнительных бачков для горючего. Зима уже шла к концу, когда на аэродром привезли длинные изящные сигары — подвесные бачки. Установили их на «Иле» — сигары сразу ладно стали на место, и все дальше представлялось уже простым. Но стоило подняться в воздух, струя ветра разворачивала бачки, питание мотора нарушалось.

Пробовали и так, и сяк — ничего не получалось.

— Не было хлопот, купила баба поросю, — прокомментировал один из молодых летчиков. — Пусть бы отработали свои капризные игрушки, а потом и предлагали!..

— Каков молодец?! — возмутился командир эскадрильи. — Он, видите ли, готов ждать. А фашисты, а война тоже ждать будут? Нет уж, все сами доведем! Доведем до ума, до дела.

Были сформированы две комсомольские бригады «по бачкам» — из техников и летчиков. Даже после напряженнейших боевых вылетов, когда вроде бы весь запас энергии израсходован, словно силы мотора на форсированном режиме, они возились у самолета с бачками или снова поднимались в воздух для их проверки. Так за несколько дней было создано приспособление, которое надежно обеспечило работу всей системы. Справедливости ради надо сказать, что в гвардейском полку, у соседей, оно получилось даже лучше. Но как бы то ни было, командир наш был доволен:

— Молодцы, комсомолия, доказали, что молодо — не зелено.

И уже назавтра, когда погода, как по заказу, разошлась от хмури, «Илы» с бачками-сигарами под плоскостями впервые вылетели из Анапы «дальше предела»: одна группа — на Судак, другая — на Ялту, где, по данным разведки, скопились вражеские корабли. Надо ли говорить, как мы ждали на сей раз возвращения своих экипажей, все чаще поглядывая на часы, и как все тревожнее тянулось время. Но вернулись, вернулись обе эскадрильи — и наша, и гвардейская — с большой победой. Штурмовые удары с малых высот, столь неожиданные для врага, оказались быстрыми и неотвратимыми. Ко дну были пущены пять быстроходных десантных барж вместе с теми, кого успели на них посадить, и на глазах солдат, которые ожидали своей очереди на берегу. Позже стало известно, что в частях, которые перебрасывались из Судака, возникла паника, гитлеровцы вынуждены были отказаться в дальнейшем от посадки здесь на корабли в светлое время суток.

Чем ближе к весне и яснее выпадали дни, тем чаще в дополнение к обычным групповым атакам портов штаб направлял пары штурмовиков на «свободную охоту» — туда, где пролегли морские коммуникации врага. Для таких рейдов отбирали самых опытных воздушных бойцов, но среди них уже были и летчики «новой волны», комсомольцы, которые прибыли в полк из училищ сравнительно недавно, однако успели показать себя в боях: Акаев, Попов, Беляков, Остапенко, Марков... Это были трудные, опасные полеты. И недаром комэск часто повторял, утешая тех, кого к ним пока не допускали:

— Вы за орденами не спешите, а к морю привыкайте. Почувствовать море надо, без этого в заданном квадрате отыскать корабль — все равно что иголку в стоге сена. А тут, у такого «стога», «мессеры» тебя как раз и ждут...

Гитлеровцы были еще очень сильны. Сосредоточив в Крыму большую авиационную мощь, они плотно прикрывали свои базы и корабли да и наши аэродромы продолжали бомбить. Только опыт вкупе с толикой счастья, которое каждому на войне может улыбнуться, а может и нет, позволяли преодолевать огневые преграды, истребительную и зенитную защиту. Счастье же, как известно, льнет к тому, кто многое умеет.

Полк опять нес потери. Прибывало новое пополнение,

но смотришь — после трех-четырех вылетов новичок уже сбит.

— Естественный отбор, — невозмутимо высказался по этому поводу на собрании комсомольцев один из воздушных стрелков, считавший себя испытанным асом.

— Да ты думаешь, что несешь?! — вскипел Юсуп Акаев. Я видел, что он весь внутренне напрягся. — Так говорить о своих товарищах, без сердца, без души — это позор для комсомольца!

— Вы меня неправильно поняли, — вскочил сержант; он сразу потерял браваду. — Новичков лучше учить надо, вот что я хотел сказать.

— Очень правильно тебя поняли, не сомневайся: покрасоваться решил, потому и запел про «естественный отбор». Повторю еще раз: позорно думаешь, позорно говоришь. А что учить опыту надо лучше — так кому же еще это делать, если не нам самим?

Как раз тогда Акаеву, ставшему в боях коммунистом и по званию старшим лейтенантом, доверили командование нашей 2-й эскадрильей. Быстро он вырос, можно сказать, на моих глазах: молодой летчик, командир звена, а теперь комэск, уже даже говорят: «Акаевцы в воздухе»... Прокручивал в памяти свой единственный пока вылет с ним — его наблюдательность, выдержку, искусство в бою. Вот и в «дивизионке» пишут: мастер бомбо-штурмовых ударов. Талант летчика сошелся у нашего Юсупа с отвагой бойца, это точно. Недаром на его личном счету записано больше, чем у любого летчика эскадрильи: семь потопленных БДБ, четыре катера, десять танков... Но, пожалуй, заслужил он быть во главе эскадрильи не только этим: умением вести за собой; готовностью прийти, если надо, на помощь — как мне, когда избрали комсоргом; взять на себя груз ответственности потяжелее. И еще — горячей честностью, прямоотой, справедливостью; это тоже, по большому счету, качества командирские...

После того комсомольского собрания, где зашел разговор о недостатках опыта у новичков, с помощью комэска провели для молодых летчиков и стрелков несколько встреч с ветеранами эскадрильи. Они тоже были совсем молоды — и по возрасту, и по фронтовому стажу, однако их уже выделяла профессиональная возмужалость, которая в любом деле вызывает признание и уважение. Каждый раз беседа касалась какой-либо грани коллективного, дорогой ценой оплаченного опыта, так ее и называ-

ли — по теме: «Маневр над целью», «Удар в порту по кораблям», «Как встречать «мессеров», «Чувство моря»...

Конечно, советы и рассказы лишь тогда чего-нибудь стоят, когда подкрепляют собственную практику, но все же и эти встречи были, наверное, не лишними. Особенно понравилась наша затея замполиту полка Г. Н. Кибизову — даже в политотдел он послал донесение, а нам говорил:

— Правильный курс держите. Впереди у нас прежде всего борьба на море...

8 апреля начал наступление 4-й Украинский фронт, и уже через два дня, 10-го, была освобождена Одесса. В тот же день пошли вперед, прорвав оборону противника, войска с Керченского плацдарма. К нам в Анапу прилетел командующий Военно-Воздушными Силами Черноморского флота генерал-лейтенант авиации В. В. Ермаченко, и в частях дивизии довели до всех поставленную им боевую задачу: главное в ближайший период для штурмовой авиации флота отрезать врага в Крыму с моря, как тогда говорили, — сесть на его коммуникации.

Важность, новизну этой задачи подчеркивало назначение командиром нашего 47-го полка прибывшего с Балтики мастера боевых ударов по кораблям Героя Советского Союза Нельсона Георгиевича Степаняна. В ту пору ему было сорок лет, но из них уже больше половины он состоял в рядах партии. И еще рассказывали — откуда только все так быстро становится известным? — что родом новый командир из Азербайджана, окончил в молодые годы школу Гражданского Воздушного Флота, работал летчиком-инструктором, в 1941-м воевал под Одессой, а затем под Ленинградом на штурмовиках, лично совершил около двухсот боевых вылетов.

Приняв командование, Степанян сразу же появился в эскадрильях — плотный, подтянутый, в безукоризненной форме майор с властным выражением на смуглом лице, но теплыми, добрыми карими глазами. Когда он снял фуражку, мы увидели, что у командира чисто обрита голова, и это тоже следовало считать фактом биографии — так, помнится, диктовала армейская и флотская мода перед войной. Бывалый, надежный человек — сразу определилось общее мнение.

— Что ж, товарищи, будем дальше воевать вместе, узнаем друг друга в деле, — только и сказал он для первого знакомства. — События нас торопят.

А события действительно торопили. 13 апреля наши войска освободили Симферополь, Феодосию, Евпаторию и вскоре вышли к внешнему обводу Севастополя. Почти два года был он под врагом, но ни на один день не забывалась его героическая оборона, которая продолжалась 250 суток. Теперь Гитлер хотел превратить Севастополь в свою черноморскую твердыню и объявил его «городом — неприступной крепостью». Позднее в наши руки попал красноречивый документ командующего немецкими войсками в Крыму, обращенный к солдатам и офицерам: «Я получил приказ защищать каждую пядь севастопольского плацдарма. Его значение вы понимаете... Я требую, чтобы все оборонялись в полном смысле этого слова, чтобы никто не отходил, удерживал бы каждую траншею, каждую воронку, каждый окоп».

Слово «Севастополь» было на устах у всех моряков, кто сражался в Причерноморье: столько мы ждали часа освобождения своей флотской столицы! Красная Армия зажала гитлеровцев у севастопольских стен в полукольцо; флоту и авиации предстояло замкнуть его с моря. Чтобы успешно действовать на морских коммуникациях в новой обстановке, наша дивизия 15 апреля одним скачком перебазировалась в Саки, под Евпаторию, оставив Севастополь у себя за спиной. В Саках располагался крупный аэродром гитлеровцев, как раз отсюда поднимались «юнкерсы», бомбившие нас в Анапе. До Севастополя с этого аэродрома было, что называется, крылом махнуть.

...В Крыму мне довелось быть давным-давно, еще мальцом. Из того далекого лета остались впитанные памятью густой запах прогретой земли и торжественно-нарядные виды: стройные, как свечи, кипарисы с буйством яркой зелени вокруг, причудливые каменные узоры скал, мягкая и ласковая синева моря. Здесь, в Саках, ничего похожего, словно и не Крым это: пыльное поле с редкими оазисами пожухлой, истомленной жаждой травы, песок на зубах и разный хлам вокруг — следы поспешного бегства. Брошенные в беспорядке голубые бомбы и другие боеприпасы, портреты Гитлера — в клубе один из них скособочился на полсцены, простреленный кем-то, будто мишень в тире.

Очиститься от этого хлама времени не было: первые экипажи получили боевое задание, едва самолеты сели. Для того чтобы они могли подняться в воздух, понадобилось сливать горячее из бензобаков других машин —

его еще не доставили. Командование требовало немедленных действий по кораблям, выходящим из Севастополя.

На крымскую землю я ступил в совершенно новом качестве. Незадолго до начала операции Михаила Гурьянова отозвали из дивизии и меня определили на его место — комсоргом 47-го авиаполка, штатным политработником. Это было так далеко от прежних — простых и ясных обязанностей вооруженца.

— Чего не знаешь, спрашивай, советуйся больше, а в общем-то действуй, как у себя в эскадрилье. Держись ближе к своей комсомолки, особенно летчикам, — наставлял секретарь партбюро полка старший лейтенант И. В. Лапкин. — Ну а мы всегда тебя поддержим — и я, и Николай Александрович тоже...

В полку, как тогда полагалось, было четыре политработника во главе с заместителем командира по политической части Г. Н. Кибизовым, ставшим уже майором. Лучше других я знал Лапкина, чаще видел его в своей эскадрилье. Небольшого роста, ничем, пожалуй, внешне не примечательный, он, однако, всегда оказывался на виду; говорил тихо, рассудительно, без эмоций, а его слушали; никогда не командовал и приказного тона вообще избегал, но руку умел приложить к любому делу — вот уж действительно руководил. Работал Лапкин до войны на каком-то из московских заводов и часто, высказывая одобрение, заключал: «Это по-нашему, по-рабочему»...

О капитане Николае Александровиче Кузнецове, агитаторе полка, человеке «книжном», который гораздо лучше себя чувствовал на лекции или занятии, чем в обычном, на короткой ноге, разговоре, уже шла речь. Меня он встретил после назначения очередной цитатой:

— Смотри, это я подобрал специально для тебя: «Где наиболее заботливо проводится политработа в войсках... там больше побед». Чьи слова, знаешь? Ленин это сказал, запомни!

Теперь мне предстояло быть младшим в этом политическом квартете. Смогу ли занять здесь должное место, как сложатся отношения не только в бывшей своей, но и в других эскадрильях?

Постепенно копившийся опыт высвечивал все яснее для меня: комсорг, оторванный от главного в наших условиях — боевой авиационной работы, вряд ли может рассчитывать на авторитет у комсомольцев, а интуиция подсказывала: здесь как раз болевой нерв новых обязанностей. И в этом первом разговоре я отвечал Лапкину:

— Держаться ближе к летчикам, как вы сказали,— значит, вместе с ними воевать. Воевать в боевых полетах. Так понимаю.

— А мы, что же, по-твоему, не воюем? Или здесь не фронт? Весь полк воюет. Полк! Сам представляешь, какая это сложная система; в ней есть передняя, главная боевая линия, есть и вторая, тоже боевая. Одно без другого не существует.

— Да ведь летный состав, вам же хорошо известно, Иван Васильевич, сейчас — почти все комсомольцы. Если самому не летать, трудно, считаю, будет с ними общий язык найти. Вот сегодня в нашей эскадрилье меня воздушный стрелок по-свойски, с невинным видом спрашивает: «А это верно, что до войны комиссарами в авиации были только летчики?» Другой добавляет, тоже, между прочим, неспроста: «В пехоте и сейчас все под пулями равны...»

— Это тебя просто подначивали,— улыбнулся Лапкии.— Узнали о новом назначении и захотели по-дружески разыграть.

— Но в каждой шутке, говорят, есть доля правды. Если разрешите за стрелка летать, пусть хоть изредка,— не будет таких шуточек.

— Разрешите... Какой скорый! Это, понимаешь, не от меня зависит. Но давай еще с другой стороны посмотрим. Комсорг — он должен про каждого комсомольца в полку знать: как воюет, чем живет-дышит. Ты вот полетишь — и что увидишь? Хорошо, если цель после штурмовки — пару раз стрельнуть по ней успеешь, а в основном разглядывать придется хвост самолета — не подпустить бы «мессеров». Да еще, пожалуй, обидишь стрелка, чье место займешь: носит, скажет, к нам комсорга нелегкая, то ли не доверяет, то ли своего дела у него нет. И летчик тоже вряд ли будет рад: что ни говори, штатный стрелок в экипаже надежнее. Каждому — свое... И какой же, выходит, резон в твоей затее? Подумай. Наша работа широты взгляда, постоянства действий требует.

— И что это вы за него взялись, Иван Васильевич? — подал голос Кузнецов, который слушал молча, перелистывая книжку.— Он молодой, да ранний, его в самое пекло тянет. А для чего, я вас спрошу? Видно, как говорится, и без очков: для самоутверждения, вот для чего! Может, он и прав.

Добрая душа, не так-то далек, оказывается, был от сложностей полковой жизни наш агитатор...



Тогда, в последние дни перед отлетом из Анапы, возвратиться к этому разговору больше случая не выдалось: начиналась Крымская операция, все были очень заняты. А здесь, в Саках, тем паче: надо без передышки разворачивать боевые действия в новом районе. Лишь побывавший в такой ситуации может представить, насколько это трудно, какое множество проблем возникает сразу после перебазирования — шутка ли, вся дивизия одним махом снялась с места и перелетела на аэродром, только-только оставленный врагом. Посадочный знак пришлось выкладывать поначалу из трофейных матрасов. Бензин лишь подвозят, боезапаса мало, моторы требуют осмотра, ориентировку пилоты изучить не успели, да и всю морскую зону к западу от Севастополя плохо знают — смотришь на новую карту, но она для тебя пока «немая», не оживает в сознании. А вылетать надо не медля — противник гонит корабли к своим осажденным войскам, укреплять оборону.

Командный пункт полка разместился в большой, наскоро поставленной круглой палатке прямо на самолетной стоянке — тут лучше держать руку на горячем пульсе боевой работы, да и противно было ступать в захлапленные фашистами помещения аэродромных домиков. Заглянув в палатку через открытый полог — доложить о прибытии из Анапы, сразу понял, что попал не ко времени: Степанян, сердито рубя воздух рукой, выговаривал нескольким офицерам. На его лице, особенно над узкой щеточкой усов, выступили капельки пота, то ли от напряжения, то ли просто от жаркой духоты — солнце снаружи пекло совсем по-летнему. Я хотел было ретироваться, но Кибизов сделал знак, подняв ладонь: оставайся...

Командир требовал навести порядок в подготовке к вылетам и тут же обращался жестко к одному или другому, давая указания. Когда дошло до боезапаса, он поискал глазами — вероятно, старшего техника по вооружению, однако того еще не было. Воспользовавшись заминкой, майор кивнул на меня:

— Вот комсорг прилетел, доложиться хочет. Может, его и пошлем?

Степанян перевел взгляд в мою сторону:

— А, комсомолия!.. Как раз то, что нужно. Бегом собери свой молодой народ, кто пока без особого дела болтается, и двигайте на разгрузку. Тоже бегом! Даю тебе час, и чтобы ни один вылет не задержался. Лично мне отрапортуешь, головой отвечаешь!

...Когда мы растаскали доставленные из Анапы бомбы, реактивные снаряды и ящики с патронами по стоянкам самолетов и я вернулся на командный пункт, там уже было поспокойнее. Степанян работал за столом с картой. Повернулся, глянул на часы, потом на меня:

— Управились, это хорошо... А что еще скажешь? Идеи новые есть?

— Скоро поступит еще партия боезапаса, так что готовы опять помочь, товарищ командир.

— Помочь, конечно, придется. Но разве это идея? Спрашиваю, как воевать будем? Что комсомол предлагает?

Смотрит с прищуром, изучающе, словно мне должно быть известно, о чем он думает. Пожалуй, в самый раз рассказать про то, что мы еще в эскадрилье обсуждали, когда пришла первая весть о прорыве в Крым.

— Комсомольцы, товарищ майор, предлагают завести свой особый — Севастопольский боевой счет. Чтобы каждый знал, что в него внес, и весь полк это знал; придем в Севастополь — отчитаемся...

— Севастопольский боевой счет, — повторил Степанян, растягивая слова, будто нараспев. — Звучит, вроде бы звучит! Что скажешь, комиссар?

Кибизов, вижу, доволен, хотя от Ивана Васильевича я слышал, что майор страсть как не любит, когда его обходят и что-то заранее с ним не согласовывают.

— В самую точку! — отвечает. — Идея хороша, только надо ее пошире взять: не для комсомольцев такой счет, а для всего полка. Вокруг партполитработу развернем, само собой — наглядную агитацию. Тут и пойдет доброе соперничество, пусть соревнуются звено со звеном, эскадрилья с эскадрильей...

— На том и порешим, — закруглил, припечатывая ладонь к карте, командир. — Считай на ближайшее время, комсорг, это для себя наиважнейшим делом.

— Да он хочет не просто помогать боевой счет вести, а сам его пополнять, — неожиданно вставил Кибизов. — Летать за стрелка рвется и на меня самого ссылается: дескать, не пропускаю такую возможность. Говорит, иначе хорошего контакта в политработе с летным составом не будет.

— А подготовка есть? — быстро спросил Степанян, и, по тону уловив, что вроде бы он относится к этому с пониманием, я поспешил вставить:

— Так точно, товарищ командир. Летал уже — не подвел.

— Что ж, изредка комсоргу это нелишне, верно. Считай, что уговорил: когда утрясем все здесь, на земле, и дело пойдет на лад, вместе полетим. С собой возьму — будет полковой партийно-комсомольский экипаж. Глядишь, и на Севастопольский счет что-нибудь свое запишем. Как, товарищ Кибизов, одобряется?

Они рассмеялись и, кажется, даже не услышали моего «спасибо».

...Случилось так, что примерно в то самое время, когда происходил этот разговор, Севастопольский боевой счет полка был уже открыт — можно сказать, авансом. Шестерка «Илов» под командованием Ефима Удальцова, выйдя в заданный квадрат, обнаружила шедший к Крыму немецкий транспорт. Он был вооружен, огрызался прицельным зенитным огнем, но, пикируя поочередно уже отработанным маневром — до малой высоты, группа поразила цель двумя прямыми попаданиями бомб. После второго захода все было кончено: замыкающий — «фотограф» запечатлел на пленке, как окутанный дымом транспорт, задрав нос, погружался в воду. В полевой лаборатории быстро изготовили эти снимки, и они пошли по рукам — еще мокрые, шершавые, словно извлеченные из самого моря, тускло блестевшего в кадрах.

— Чистая работа, оправдал свою фамилию Удальцов, — сказал Иван Васильевич Лапкин, парторг полка. И обратился ко мне: — Вот бы такой «квитанцией» подкреплять нам каждую страницу боевого счета. Вместо печати, чтоб комар носа не подточил. Давай-ка договоримся с начальником штаба...

Из этой мысли и родилась наглядная форма нашего Севастопольского счета — он стал как бы открытым дополнением к официальным штабным документам. Жаль, альбома тогда не удалось достать, пришлось обходиться папкой с тесемочками, куда вкладывали листы бумаги с резюме из боевых донесений и по-возможности подклеивали фото (снимки, как известно, не всегда получаются даже в самой спокойной обстановке, а невыразительные, казалось мне, только портят картину).

Пожалуй, если бы услышал о подобном счете сейчас, мог бы воспринять все это с известным скепсисом: ну вот, еще одна дань организованной показухе. Слишком много позади разного рода ударных вахт, рапортов и счетов, примелькавшихся своим однообразием; иные даже

продолжают жить в силу инерции. Но тогда мы только-только начали по-настоящему бить врага, и каждая, пусть самая маленькая в масштабах войны победа была овеяна романтикой преодоления тягостей потерь и отступлений, а уж освобождение Севастополя все черноморцы считали для себя делом святым. Соединение одного и другого отвечало общему настроению, вот почему наш счет вызывал интерес, привлекал, разжигал стремление отличиться. Его скромные листовки-странички помогали воевать, и это — я был уверен — настоящая политработа.

На аэродроме в Саках с утра клубами растекалась, почти не оседая, мелкая пыль. Отсюда действовали два штурмовых и один истребительный полки дивизии, появлялись тут и бомбардировщики других частей. Самолеты взлетали и садились весь световой день, перекрывая обширный морской район юго-западнее Севастополя, через который проходили гитлеровские коммуникации. Пыль покрывала лица, мучнисто въедалась в кителя и комбинезоны.

Вечером в бывшей своей эскадрилье, где я рассказывал техсоставу о первых записях в Севастопольском боевом счете, разговор зашел и об этом:

— Совсем мы здесь пропылились. Да и ты, комсорг, тоже хорош — хоть и в полку, с начальством рядом, выглядишь настоящим мельником.

— Эх, сейчас бы выкупаться! Между прочим, говорят, километрах в двух пруд есть.

Так заманчиво это было, что мыслью о близком пруде загорелись все. Только пожилой, степенный механик добродушно проворчал:

— Тю, оглашенные. Война, самолеты к завтраму еще не готовы, а они что выдумали.

Однако со старшим техником эскадрильи, против ожидания, удалось договориться. Он разрешил, оставив в каждом экипаже дежурных и тех, кто занят неотложными работами, остальным ненадолго отлучиться:

— Чтобы не больше часа — одна нога здесь, другая — там, да потом это время делом наверстать!

...Когда мы вернулись, оказалось, что за мной приходил посыльный — вызывали в штаб полка. Побежал сразу туда, но не застал никого, кроме помначштаба, который заступил на ночную вахту. Выяснил у него, что меня расписали в боевой расчет полетов на завтра.

— Вместе с командиром, за стрелка в его экипаже?

— Нет, с лейтенантом Остапенко. А ты откуда знаешь, что командир полетит?

— Он сам мне говорил,— вывернулся я.— И обещал с собой взять.

— С командиром пойдет начальник связи полка. Других распоряжений не было.— Он дал понять, что больше объяснять ничего не намерен.

Кляня себя за отлучку на пруд, невольно вспомнил, как председатель колхоза в Старой Абаше, больше всего любивший, по-моему, угощать гостей, обязательно говорил, когда мы собирались купаться: «Зачем, послушай? Речка — для рыбы плавать, женщина — стирать, а место мужчины — за столом.— И хитро добавлял: — Если уж не при деле...» А наше дело, самое главное — война. И надо же было поддаться соблазну, из-за этой задержки все по-другому получилось — рассердился, наверное, командир полка.

Еле дождался утра, когда до летного состава довели боевую задачу. С рассветом воздушная разведка обнаружила немецкие корабли — несколько вымпелов, которые уже должны быть в достижимом для нас районе, двигаясь к Севастополю. На подходах к нему можно ожидать появления «мессеров» или «фоккеров»<sup>1</sup> для прикрытия. Девятку «Илов» поведет майор Степанян.

— Все понял? — спросил меня Остапенко.— Командир хочет посмотреть нас в деле. С первой эскадрильей он уже летал.

— А почему, как думаешь, стрелком берет начальника связи? — спросил я, стараясь изобразить праздное любопытство: не мог же ему сказать, что командир полка обещал взять меня в свой экипаж.

— Тоже, видно, проверить хочет в боевой обстановке. Да и по чину это подходяще, сам знаешь.

Может, так оно и было, но все же, если бы не купание — столь желанное вчера, а сегодня казавшееся злополучным, глядишь, и удалось бы переговорить с майором, напомнить ему про обещание. Промашка с купанием испортила настроение, но от слов летчика стало на душе полегче.

Мы шагали рядом к «Илу», и я краем глаза смотрел на Виталия Остапенко, которого хорошо знал по

---

<sup>1</sup> «Фокке-Вульф-190» — гитлеровский истребитель с усиленным вооружением, появившийся к тому времени и на Черноморском участке фронта.

эскадрилье. Не так уж давно мы с ним вместе ходили под Анапой в политотдел, и полгода еще с той поры не прошло. Но сегодня черты знакомого облика — широкое лицо, чуть приплюснутое шлемофоном, белесые, как будто выцветшие брови, светлые глаза — воспринимались по-новому, вызывая особую приязнь, которую испытываешь обычно к близкому человеку. Вылетая в бой на одном самолете, даже вот так, как мы — в чем-то случайно и не исключено, что единственный раз, — люди всегда ощущают свою близость. Их судьба соединяется в тесных кабинах, расположенных одна за другой — спиной через броневую защиту опираешься на спину товарища, соединяется и в жизни, и в смерти. Порой же бывает, что смерть одного спасает жизнь другого...

Взлетев, наша девятка почти сразу оставила позади береговую черту — ровную и гладкую здесь, на евпаторийской стороне Крыма. Солнце уже поднялось и ярко било в левый борт — значит, развернулись строго на юг. Набрали высоту, и тени самолетов, вначале скользившие по воде, потерялись, размылись. Подходило расчетное время встречи с целью, но где же эти корабли? Море все так же пустынно, сколько ни всматриваешься в зеленоватую водную гладь, чуть подернутую солнечной рябью бликов.

Вслед за командиром описали широкую петлю и повернули к западу — теперь мы скорее всего на встречных курсах с вражескими кораблями. Томительно проходят минуты... Наконец долгожданное:

— Вижу цель! — Истребители прикрытия, ушедшие вперед, дают ориентировку: совершив маневр, гитлеровцы, оказывается, забрались южнее явно с расчетом незаметно выйти к Севастополю «с тыла».

Снова поворачиваем, перестраиваясь для подготовки к атаке. Через несколько минут, перегнувшись через борт кабины, мне тоже удастся разглядеть справа вдаль, у горизонта, черные точки. Но мы быстро сближаемся...

С высоты корабли выглядят словно макеты, расставленные на этом просторе; невольно думаешь: как на ладони. Их два — впереди сторожевик, за ним транспорт. Где же еще один? Ведь разведка, говорили, обнаружила три? Размышлять, однако, некогда: заметив нас, сторожевик резко прибавляет ход, длинным белым усом тянется за ним бурунная полоса — бросает он транспорт, что ли? Командир разделяет группу: сам ведет пятерку

на главную цель, а остальным приказывает ударить по сторожевику.

Может, название это звучит и не очень солидно, но немецкий сторожевик времен войны был маневренным кораблем с хорошим зенитно-артиллерийским вооружением. Едва мы вышли на боевой курс, он открыл сильный огонь по ведущему «Илу», который пикировал перед нами.

— Внимание! Пошли и мы,— передает Остапенко.

Теперь на корабле взяли в прицелы наш самолет, разрывы повисают сзади, вылетают из-под фюзеляжа, ложатся все ближе...

Цель открывается передо мной только на выходе из пике — совсем рядом, крупно в первый миг. Охватывая взглядом лишь небольшую часть всей панорамы атаки, вижу, как по обоим бортам сторожевика расходятся белопенные круги — один, второй, третий... Наши бомбы легли рядом с кораблем, но в него не попали — увернулся. Только на палубе что-то дымит — это скорее всего от «эр-эсов» или пушечной серии. Стреляю из пулемета по палубе. Сейчас там переносят огонь на штурмовик, который пикирует за нами следом, в самый раз ударить по зенитчикам.

— Не горячись, побереги патроны,— слышу глуховатый в шлемофоне голос лейтенанта.— Второй заход будет.

Отворачиваем, набираем высоту, и я гляжу прежде всего на небо. Как будто бы оно чистое, во всяком случае здесь, в задней полусфере,— гитлеровских истребителей нет; правда, и наших не замечаю, только редкие облачка рассыпаны по спокойной голубизне. А внизу вновь распахнулся морской простор. Сторожевой корабль, окутанный негустым дымком, продолжает идти полным ходом. Слева, примерно в миле, горит, словно факел, брошенный в воду, транспорт — вот его, значит, точно накрыли!

Закручивая цепочку воздушной «карусели», один за другим снова пикируем на сторожевик. Хотя и не удалось никому поразить его прямым попаданием бомб, пушечный боезапас еще не израсходован. Снижаемся опять до малой высоты, навстречу огню; он уже не такой плотный — досталось все же фашисту, но и у нас появились пробоины: на плоскости, ближе к хвосту в фюзеляже... Эх, обидно, что уходит корабль из-под носа; дымит гуще, заметно сбавил скорость, а уходит. Что тут поделаешь?

— Командир собирает всю группу для атаки сторожевика, — передает по внутренней связи Остапенко. — Есть еще чем стрелять? Да смотри, оставь на всякий случай, с «мессерами» черт не шутит, домой надо добраться...

Транспорт уже исчез из виду, будто и не было этого яркого факела — потом рассказывали, что произошел там сильный взрыв, судно разломилось надвое, и море быстро его поглотило. Теперь майор Степанян вел пятерку «Илов» нам на подмогу. Сохранив часть боезапаса, поскольку транспорт удалось потопить с первого захода, они совершали маневр широким пеленгом, чтобы пересечь курс сторожевика и ударить по нему. Наша группа подстроилась сзади, и вся девятка еще раз проштурмовала корабль «эр-эсами» и пушечно-пулеметным огнем. После этой последней атаки он медленно, будто нехотя, покатился по дуге вправо, оставляя за кормой дым и слабеющую белесую дорожку на воде, проведенную ровно, как циркулем.

— Можно считать, доклевали, — удовлетворенно сказал Остапенко. — Эх, была бы сейчас в запасе хоть одна бомба!

Когда вернулись, на разборе полета командир полка поохладил, однако, наш пыл:

— Воевали хорошо, смело, но сторожевик все-таки упустили. Каждый конвой надо бить до конца. В Севастопольский счет занести только транспорт...

— Посмотрите еще раз снимки, товарищ командир, — показывая мокрые отпечатки, предложил начальник штаба. — Он же подбит окончательно!

— Окончательно или нет — это, как говорится, еще бабушка надвое сказала. В боевом донесении можете отразить: сторожевой корабль поврежден. Но факт, что бомбы легли мимо и на плаву он остался. Подальше от хвастовства, оно, знаете ли, лучше.

Вылеты на морские коммуникации врага продолжались, и счет полка рос. И очень часто, оформляя его новый лист, я мог приписать внизу, отдавая дань должностному самолюбию: «Это сделали комсомольцы». Подклеил туда на отдельной странице и вырезку из свежей «Правды»: «В боях на морских коммуникациях черноморские летчики проявляли не только высокий моральный дух, смелость, настойчивость, но и новые тактические приемы, позволявшие эффективнее наносить удары. Только за десять дней боев за освобождение Крыма они



уничтожили более двадцати кораблей противника и стольким же нанесли повреждения... Нередко вражеский караван возвращался в Севастополь, не рискуя продолжать путь больше в данном составе кораблей. Многие из этих побед одержаны летчиками Героя Советского Союза майора Степаняна...»

7 мая началось сражение за Севастополь, и вся дивизия вместе с другими авиационными частями расчищала путь нашим войскам штурма — главным образом в районе Сапун-горы. За один день полк уничтожил много танков, артиллерийских орудий, дотов, и ночью была получена благодарность командующего штурмовыми войсками П. К. Кошевого, будущего Маршала Советского Союза, за мастерские боевые действия в поддержку наступления. Рассказывая об этом в эскадрильях, мы приводили его слова: «Сапун-гору взяли «Илы!» Наверняка здесь было преувеличение, но из песни слова не выкинешь, эту благодарность записали под новыми — «сухопутными» цифрами боевого счета.

Более восьми месяцев удерживали советские войска Севастополь в 1941—1942 годах под непрерывными атаками превосходящих сил гитлеровцев. Теперь роли переменялись, но уже не месяцы, а всего два дня понадобилось нашим наступающим частям, чтобы выместить захватчиков из города. Так изменилось соотношение боевой мощи и опыта, таким всеокрушающим был порыв пехотинцев, моряков, летчиков, танкистов: мы долго шли сюда, к героической столице Черноморского флота, и каждый горел желанием скорее ее освободить.

9 мая, вылетев очередной раз для штурмовки отступающего врага, летчики увидели Красное знамя над полуразрушенным круглым зданием панорамы Севастопольской обороны 1854 года — знамя победы. Разбитые гитлеровцы — те, кому удалось избежать пленения в городе, бежали к Херсонесскому маяку, на далеко уходящий в море мыс, надеясь, что смогут эвакуироваться. Командование противника, собрав все, что оказалось под рукой, бросило сюда свои военные корабли и транспорты из портов западного Черноморья.

«Севастополь взят! Отсалютуем победе новыми точными ударами по кораблям врага!» — на ближайшие дни это должно стать, сказал майор Кибизов, боевым девизом полка. За ночь мы успели написать несколько таких лозунгов, и с одним из них рано-рано утром я пришел к штабной палатке, чтобы приладить его на заметном

месте. Командир полка был уже там. Чуть прищурившись, он молча — мне показалось, иронически — оглядел плакат, но потом сказал весело и с несомненным одобрением:

— Салют, значит? Как в Москве, но по-боевому?

— В Москве еще, думаю, будет салют, товарищ майор. Когда очистим Херсонес...

— Да, для этого уже пробил решающий час. Или они уйдут на кораблях, пусть даже не все, или мы их не пустим. Такой выбор — последняя точка, можно сказать, всей Крымской операции.

— Хорошо бы, товарищ командир, чтоб получился восклицательный знак!

Степанян улыбнулся:

— Вот и поставь его на своем лозунге, там, по-моему, именно восклицательного знака не хватает.

Когда собрался, сделав все, уходить, командир остановил:

— Подожди, комсорг, есть еще вопрос. За мной ведь должок остался — не забыл, что обещал тебя в полет с собой взять? Можешь готовиться, а то и в «салюте» не поучаствуешь...

На сей раз вылетели всем полком, одновременно действовал и 8-й гвардейский — удар наносила дивизия в целом. Наш маршрут был избран так, чтобы выйти к Херсонесскому рейду с моря. Впервые мне довелось видеть над целью сразу столько самолетов. Они заходили с разных высот, по сходящимся направлениям — похоже на кружащий рой, но воля и расчет ведущих придавали этому, казалось бы, стихийному кружению строгую осмысленность и целесообразность. То был уже выверенный опытом «слоеный пирог» атаки, позволявший преодолеть, подавить сопротивление врага. А силы у него были немалые: военные корабли, прикрывавшие несколько транспортов, открыли ураганный зенитный огонь. Еще на подходе к ним один из штурмовиков, летевший ближе к берегу, вспыхнул от прямого попадания и, растягивая за собой черную ленту шлейфа, резко пошел вниз...

— Приготовиться! Наша группа атакует сторожевик и БДБ, — приказал командир.

Эти корабли стояли на рейде отдельно, защищая с моря огромный транспорт, к которому прорывались гвардейцы — их вел, как мы знали, Николай Пысин.

Вышли на боевой курс, и Степанян первым круто

свалил штурмовик в пикирование. Все слилось в стремительном рывке вниз, к цели, — до того, осязаемого лишь особым чувством летчика мгновения, когда кажется, что самолет вот-вот врежется в косо надвигающуюся палубу, на которую, словно ветром их сдувает, падают люди... Две бомбы были положены прямо в корабль, и едва командир успел, вырвав машину из пике, бросить ее в сторону, раздались сильные взрывы.

Рассмотреть, однако, все это было некогда: с правого борта передо мной открылась ближняя БДБ, откуда пулеметными очередями стали бить по нашему самолету. Развернул туда турель и стрелял, стрелял, пока она оставалась в прицеле...

Уходили, прижимаясь к воде. Над морем группа собралась, поднялась выше, и теперь можно было оглядеться. Вдали на рейде, будто через перевернутый бинокль, обрисовались в миниатюре подробности утихающего боя: горел транспорт, даже на расстоянии, из-за которого корабли представлялись не больше спичечного коробка, были заметны его крупные размеры; уходил в воду, задрав нос, сторожевик; рядом, застилая его, косо растягивался дым — там, пожалуй, располагались быстроходные баржи; ближе к берегу стояли еще два транспорта поменьше — судя по всему, целые и невредимые.

— Как самочувствие, комсорг? — спросил Степанян. До меня, отрешенного в тот момент от всего, кроме этой картины, не сразу дошел смысл вопроса. — Ты что там молчишь?

— Извините, товарищ командир. Все в порядке. Повреждений сзади у нас нет. Вижу, что сторожевик и большой транспорт точно доконали. Здорово вы попали!

— А как БДБ? Между прочим, это твои комсомольцы били!

Что ответить? Ничего другого не заметил, только успевал сам стрелять. Пришли на ум слова парторга Лапкина: «В основном разглядывать придется хвост самолета...» Может, он в чем-то был и прав, наш Иван Васильевич?

— Хорошо пробомбили, — продолжал командир (надо же, все сумел охватить своим взглядом!). — Одну БДБ тоже поразили прямыми попаданиями...

Назад летели через Севастополь. Дважды прокатился по нему тяжелый каток войны — город лежал в руинах.

Больно сжалось сердце: внизу преобладали черные тона, а ведь был он белокаменным, веселым и чистым, как утреннее летнее небо.

— Смотри и запоминай,— снова включился Степанын.— И расскажи об этом всем комсомольцам, кто не видит. Пусть знают, злее будут воевать.

В тот день наши эскадрильи продолжали летать к Херсонесу, и на следующий день тоже — добивали плавсредства, на которых гитлеровцы еще рассчитывали хоть что-то эвакуировать. А в ночь на 12-е советские войска окончательно сокрушили сопротивление врага и очистили последнюю пядь крымской земли, захватив много пленных, боевой техники и других трофеев.

На все это довелось поглядеть самому — меня назначили в группу, которая поехала туда, чтобы уточнить результаты боевой работы штурмовиков.

...Вдоль бывшего Херсонесского аэродрома — небольшого красноватого поля с наваленными кругом такого же цвета глыбами — понуро брела нам навстречу длинная колонна сдавшихся немцев. Она опоясывала весь этот пятачок, расчищенный на забитой камнем земле, и потому аэродром казался особенно крохотным. А ведь отсюда — просто удивительно! — летали наши в дни обороны Севастополя. Соболевские «2-У-2» тоже, кажется, отсюда вышли; по крайней мере так рассказывал год назад в Геленджике сам писатель. И не зря, выходит, прикидывая тогда судьбу этих молодых летчиков «двух-у-два» на свою, запомнил крепко обращенное к ним напутствие: «Зубами держитесь за каждую возможность уйти в бой, никому не уступайте права бить врага, никому...» Хоть и не очень-то, но удалось мне все же приблизиться к этому праву.

Херсонес предстал перед нами громадным кладбищем военной техники: танки, орудия, автомашины... В балках и у самого берегового обрыва громоздились какие-то ящики, было навалено различное имущество. Еще не успели убрать трупы, в воздухе стоял смрад, а в воде, прибитые волной, медленно покачивались туши лошадей, которых гитлеровцы перестреляли, загнав в море. Отступая под ударами наших войск, враг уперся в край советской земли, дальше пути ему не было.

Когда в штабах подвели окончательные итоги операции, цифры оказались впечатляющими: только 10 мая авиация Черноморского флота уничтожила 14 кораблей противника, а всего за время Крымской кампании —

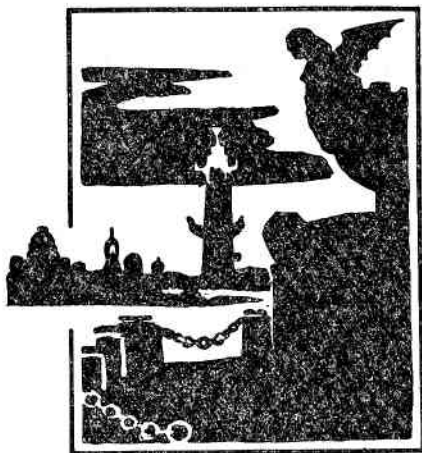
свыше 100. Многие из них вошли в Севастопольский боевой счет нашего полка. По документам врага историки позже установили, что лишь на переходе морем в майские дни 17-я армия гитлеровцев, разгромленная в Крыму, потеряла от ударов черноморских летчиков более 40 000 солдат и офицеров.

...Возвращаясь назад, мы заехали в Севастополь. Невольно ожили в памяти жгучие слова Л. Н. Толстого: «Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...» Все в душе действительно возбудилось, едва оказались рядом с Сапун-горой и Малаховым курганом, возле седых камней Графской пристани, на Приморском бульваре... Но чувства возбудились не от гордости — вблизи еще сильнее, чем на борту самолета, обжигала их картина страшных разрушений. Домов нет, на каждом шагу — руины, приходится пробираться среди каменных завалов и нагромождений. Вместо неповторимого, ласкового и свежего воздуха Севастополя, напоенного запахом моря, солнца, прогретой земли, теперь отовсюду тянуло гарью... Но были уже и другие приметы. Прямо из разбитой, обрушенной стены поднималось, расправляя яркую зелень листвы, молодое деревце. В подвал под обломками здания вели аккуратно расчищенные ступени — там, значит, кто-то квартировал. На берегу Артиллерийской бухты, возле ноздреватой, изъеденной морем скалы закидывал удочку мальчонка (откуда только он взялся!) — выбеленная у берега известняковым дном вода высвечивала лохматые тени бычков. Жизнь продолжалась, торжествуя над тленом, она брала свое!

Продолжалась и наша боевая жизнь. После освобождения Крыма дивизия получила приказ перебазироваться на Балтику: теперь там разворачивались решающие события и потребовались ударные силы морской авиации. Во всех эскадрильях был зачитан прощальный приказ командования Черноморским флотом, в котором говорилось:

«11-я Новороссийская штурмовая авиационная дивизия проявила образцы героизма, мужества и высокого боевого мастерства в многочисленных боях с немецко-фашистскими оккупантами за честь, свободу и независимость нашей Родины... В памятные дни боев за Новороссийск и Тамань, за Керченский плацдарм, в боях за

Крым, родной Севастополь летчики и весь личный состав дивизии приумножили славу Черноморского флота... На всю нашу страну известны имена героев летчиков-штурмовиков: Воловодова и Челнокова, Авдеева и Гриба, Степаняна и Акаева, Пысина и Николаева и многих других. Ваши боевые дела служат для всех черноморцев примером мужества, героизма и мастерского владения своим оружием».



## ВЕТРЫ БАЛТИКИ

**П**уть домой лежит через Берлин — привычно было думать так, пока мы воевали на Юге. Но война приносит и неожиданные подарки.

Из Крыма довелось лететь на ТБ-3, который еще в недавней «табели о рангах» считался грозным бомбардировщиком, олицетворявшим нашу авиационную мощь. Уязвимый и тихоходный, несмотря на свои четыре мотора, он теперь сменил боевую профессию на транспортную. Война быстро сдвигала многие устоявшиеся представления. И подчас несла самые неожиданные повороты в судьбе. Вот и меня снова привела домой в Москву — пусть лишь на одну ночь.

С аэродрома за городом, на котором мы вечером приземлились, удалось попутной машиной добраться к центру. Торопливо шагал по улицам, еще вчера казавшимся несбыточно далекими, впитывая в себя вновь их знакомые черты. Вот и наш до боли родной Мамоновский

переулок с серым кубом Театра юного зрителя и знакомым забором напротив, у сада, куда мы ребятами лазали играть в футбол,— действительно ли я нахожусь здесь?.. Никогда, наверное, не бывает дороже места, чем то, где прокатилось быстротечное детство; война усилила, обнажила это чувство дома, тягу к прошлому, к семье. Ноги сами собой побежали.

Письма от матери изредка уже доходили, и я знал, что она с полгода назад вернулась из эвакуации, работала на фабрике. Хоть и вечер, но не известно, как там работают — застану ли дома? Сердце стучало сильнее, сильнее... А увидел ее в дверях — поседевшую, маленькую, словно сжатую невзгодами, что-то сразу оборвалось внутри, затрепетало.

— Ты? — Она испуганно отшатнулась, проведя рукой по глазам, точно отменяя зыбкое видение.— Сынок, ты! Это ты!..

И стала медленно опускаться у порога. Пожалуй, и меня уже пол держал плохо.

Почти всю ночь мы не спали, но говорили, как ни странно, мало. Прочитали вместе немногие письма отца из 41-го года и, конечно, задержались на последнем, помеченном 30 сентября: «Мы готовимся к настоящим боям и готовимся как следует. Ты не беспокойся, скоро напишу еще...» С тех пор его писем мама не получала, других известий тоже — началось сражение под Вязьмой, и дивизия московских ополченцев, куда добровольцем вступил отец, оказалась на острие гитлеровского наступления.

— Может, еще узнаем что-нибудь, не плачь. Бывает так.

— Где там, сынок. Сердце не обманывает. Знаю: без вести — и остается без вести. Оттуда не возвращаются...

Теперь-то я понимаю: это запавшее в память «оттуда не возвращаются» было сказано вообще о войне, матерей она страшит прежде всего тем, что губит их детей. А тогда казалось неловким, даже отдаляющим нас, что, держа в руках последнее отцовское письмо, она говорит не о нем — обо мне, повторяя сквозь слезы, как заклинание:

— Береги себя, сынок. Один ты у меня остался. Береги, береги...

Рано утром добрался обратно на аэродром, испытывая от этой краткой встречи двойственное чувство: счастливого прикосновения к теплоте родного дома и



горестного ощущения безысходной незащищенности матери.

Потом был Ленинград, уже востребованный под весенним солнцем от долгой блокады, но хранивший ее жестокие шрамы: завалы мешков с песком прикрывали знаменитые памятники, на Невском пустоты разрушенных домов заслоняли фанерные щиты с намалеванными «фасадами» зданий — грубые протезы на благородном лице израненного города...

Дальше ехали на машине по Приморскому шоссе, местам отгремевших боев. Проскочили Стрельну, первый городок, куда довелось наяву вернуться из горькой памяти 1941 года, — отсюда мы улетали тогда на восток, пройдя сполна испытания огнем и совестью. Впереди лежал Петергоф — дивное чудо России. Три года назад, когда я, еще курсантом, был здесь последний раз, он сверкал живым серебром фонтанов, над которыми красовался бронзовый Самсон, раздирая пасть льву, притягивал грациозным изяществом Большого дворца, великолепием живописного парка. Теперь от дворца остались лишь почерневшие, местами обрушенные стены, дальше тянулись пустыри с такими же темными скелетами-руинами... Горечь утрат и радость возвращения — как смешиваются они в сознании? Наверное, у каждого по-своему; у меня подступал ком к горлу.

...Новым местом дислокации стало для нас Куммолово. В который раз за войну приходилось осваиваться после перебазирования, но теперь это было совсем не то, что прежде, даже сравнения никакого. Последние землянки рыли в Анапе, крымскую недолгую страду пережили в палатках, а здесь могли позволить себе расположиться в домах поближе к аэродрому — сила в небе была уже наша! Да и привычным стало многое, набрались ума-разума — знаем, как развернуться, чтобы и дело не страдало, и к девочкам успеть сбегать, если, конечно, в округе есть гражданское население.

Устроились в заброшенном, пустом, но на удивление целом двухэтажном здании. Только начали приборку, и вдруг:

— Смотрите, пчелы!

Они выползали через щели в полу на втором этаже, словно вылупливались из-под ног, и цепочкой летели к разбитому окну, навстречу другим, которые возвращались той же дорогой. Пасека в доме? Вскрыли доски пола и увидели между перекрытиями аккуратно уложенные

ульи. В них оказалось полно меда, и мы, отмахиваясь от пчел и терпя боль укусов, неумело вытаскивали соты — редкое лакомство. А мысли все возвращались к тому, как сюда могли попасть эти ульи.

— Выходит, спрятал кто-то пчелиные семьи под пол, от врага подальше!

— Может, еще в первые дни оккупации. Это сколько же фашисты тут держались?

— Считаю, с августа 1941-го. Накопился запас...

«Пчелиная война» вписалась мимолетным веселым эпизодом в будни войны настоящей.

...Стояли белые ночи, солнце спозаранку выкатывалось со стороны Ленинграда и долго-долго шло по белесому небу, нехотя склоняясь в конце концов куда-то за линию фронта. Весь длинный день гудел моторами аэродром: дивизия без промедления вошла в боевой строй. Летали главным образом «на ту сторону» — через Финский залив, чтобы штурмовать в прибрежных водах корабли врага, подавлять его артиллерию и укрепления восточнее Выборга. Самым опытным экипажам ставилась задача обнаружить и бомбить «Вайнемайнен» — броненосец, который за короткое время сумерек почти каждую ночь успевал обстрелять позиции наших войск, а потом скрывался в шхерах, и так ловко его маскировали, что большой корабль исчезал, будто невидимка. Докладывая о результатах очередного вылета — потопленных катерах, разбитых бомбами батареях, летчики сокрушенно обводили на карте квадрат за квадратом:

— На малой высоте все проутожили, а «Вани-Мани», — так для ясности на русский манер называли неуловимый броненосец, — и следа нет.

Поступали указания на сей счет из штаба дивизии, нажимал на эскадрильи командир полка, сам вылетал на поиск, но этот корабль тогда, до начала наступления, мы так и не смогли обнаружить.

10 июня развернулась Выборгская операция — наши войска двинулись вперед вдоль северного побережья Финского залива, и с утра штурмовики были вновь перенацелены для ударов по наземной обороне врага: вылетели к его редутам по реке Сестре, на Койвисто, под Выборг. А перед тем, как водится, прошли в эскадрильях краткие митинги: первое для дивизии после перебазирования с Юга большое наступление! Ради того, можно сказать, и прибыли на Балтику. Да еще только-только слышали весть о высадке союзников в Норман-

дии. Слилось все это воедино в сознании, и настроение было такое, что теперь, после долгожданного открытия «второго фронта», война быстро покатится к концу. Только Удальцов, стоявший на митинге близко от меня, когда зашла речь о союзниках, хмыкнул:

— Торопились, как черепаха на пенсии. Подождем на них надеяться...

Сказал вроде бы про себя, но кругом услышали, засмеялись...

Через несколько дней флот развернул высадку десантов на островах Выборгского залива, и мы стали работать по новым целям. На сей раз командир полка разрешил мне пойти на задание с Михаилом Беляковым, который возглавил одну из групп авиационной поддержки десанта. Молодой лейтенант, совсем юноша, недавно пришедший к нам зеленым выпускником училища, в горниле войны быстро превратился в признанного мастера боя: шутка ли, это был уже пятьдесят третий вылет Белякова на штурмовку. Запомнилось потому, что только-только давали ему комсомольскую рекомендацию для вступления в партию. А у меня какой вылет? Посчитал: нет, даже десяти еще не наберется...

— Будем над целью, пока не появится смена. Тактика непрерывного удара! — наставлял ведомых Михаил. — Отходить только по моей команде.

И вот под нами остров Пийсари. Отчетливо прорисовались коробочки катеров у кромки берега, это они доставили десант. Дальше — светлые пятна полей, окруженных пиками сосен. Вглядываюсь и замечаю, как падают и поднимаются фигурки моряков — атака! А снизу уже потянулись к самолету трассы, начинаем противозенитный маневр, и в это время прочерки ракет одна за другой разрезают картину боя: с кораблей наводят нас на цель. Беляков сваливает машину в пике, ее потряхивает — бьют бортовые стволы... Разворачиваясь для второго захода, видим, что бомбы легли там, где стояла финская батарея. Больше она не стреляет, а с земли нам приветливо машут поднявшиеся во весь рост моряки. Еще заход — бьем по линии дзотов и окопов, протянувшихся за поляной изломанным прочерком... После четвертой штурмовки, когда боезапас уже израсходован, набираем высоту и над морем встречаем новую шестерку «Илов» — подходят точь-в-точь, как задумано. Покачали крыльями, будто помахали друг другу руками в добром

напутствии. Теперь их черед расчищать дальше путь десанту.

Так, волна за волной, и помогали вышибать врага с сильно укрепленных позиций на островах Выборгского залива. К 20 июня все они были очищены, и в тот же день наши войска взяли Выборг.

Следом перешли в наступление части Карельского фронта на реке Свири, где линия его между Ладожским и Онежским озерами тоже удерживалась незыблемо еще с осени 1941-го. Командование приняло решение перебросить несколько экипажей полка на площадку «подскока», поближе к целям этого направления. Меня направили с ними — от политсостава.

...Тесное, неровное поле, поросшее редкой травой, обвалившиеся капониры по сторонам — таким предстал перед нами этот вспомогательный аэродром, когда самолеты приземлились, поднимая клубы пыли. Давно, видно, никто им не пользовался.

— Сослали на дальний хутор, — недовольно бросил лейтенант Богданов, старший в этой небольшой группе. — Здесь и посадка-то чего стоит — ноги обломает. Не война, а маята одна.

Как бы подтверждая его слова, группа в первые дни не получала задания: погода не позволяла летать. Наконец поступил приказ: выделить пару «Илов» для прикрытия от зенитного огня бомбардировщиков, которые нанесут удар по Свирьстрою — электростанции, не завершенной строительством перед войной: противник превратил ее в мощный оборонный пункт.

Словно разморенный жарой, хотя солнце в этот день не выходило из облаков, командир пары лениво надевал парашют, всем своим видом показывая, что не забыл сказанного о «хуторе».

— Ты что такой сумрачный?

— Наши сейчас, поди, снова по кораблям летают, а тут подобрали дело — прикрытие. — Богданов презрительно растянул это слово. — Будто мы сами бомбить не умеем. Да там, может, и зениток кот заплакал, зря только бензин пожгем.

— Что, командир, наперед толковать, — заметил из кабины воздушный стрелок Сергей Архипов, уже занявший свое место. — Раз надо, значит, надо! Все сделаем по-хорошему.

Архипова в полку уважали. Он был удивительно спокойным и выдержанным, воевал с отважным достоин-

ством. До войны — заводской рабочий, Сергей относился, по-моему, к любому делу с рабочей обстоятельностью, и это очень помогало в ратном труде.

Когда мы провожали экипажи Богданова и его ведомого — Захарченко, все шло обычно, своим чередом. Стрельнув беловатыми дымками из патрубков, с первых оборотов запустились моторы. Через несколько минут, несмотря на плохую площадку, оба «Ила» благополучно взлетели, взяв курс к месту встречи с бомбардировщиками. А мы прикинули маршрутное время и стали ждать их возвращения. Легко, конечно, вот так подсчитывать время, но разве предугадаешь, что случится в бою? Об этом все думали, только вслух никто не говорил.

Минуло около часа, и показался первый штурмовик. Он шел низко, натужно и с ходу, тяжело переваливаясь, сел. Стабилизатор был в лохмотьях, на плоскостях и в фюзеляже — рваные пробоины. Побежали к самолету, который остановился в углу площадки.

— Стрелку помогите! Скорее! — крикнул Богданов.

Мы кинулись к задней кабине. Архипов был недвижим. Голова свесилась на грудь, обмякшее тело привалилось к турели, обрызганной кровью. Отстегнули привязной трос и с трудом вытащили раненого. Он был без сознания. Лишь на мгновение, не открывая глаз, прошептал еле внятно:

— Держусь, командир...

Жизнь оставила его на наших руках.

О том, что произошло, рассказал Богданов, и с его слов удалось восстановить картину всего боя.

...На цель группа бомбардировщиков, которую сопровождали «Илы», обрушилась неожиданно, и штурмовики быстро выполнили свою задачу: только два зенитных автомата попробовали огрызнуться с земли, но тут же умолкли, захлебнувшись в бомбовых разрывах.

На обратном маршруте разделились — бомбардировщики ушли на юг, а Богданов, поднявшись к самой кромке неплотных, словно встрепанная вата, облаков, повел пару «домой».

— Командир, справа в разрыве облаков что-то промелькнуло, — доложил Архипов. — Надо бы спуститься. Ударят сверху — съедят, и отстреляться не успеешь.

Лейтенант на мгновение заколебался, но, успокоенный легкостью, с какой удалась штурмовка, ответил:

— Смотри внимательно. Пойдем пока так.

Это была ошибка.

Через минуту-другую из облаков вывалилась шестерка «фоккеров». Богданов увидел, как по обшивке плоскостей, оставляя большие отверстия, ударило несколько снарядов. Видимо, повреждены были и рули, потому что самолет уже не так послушно повиновался. Сзади прерывисто стучал пулемет стрелка: значит, Архипова гитлеровцы не застали врасплох, он выбивал врага из-под хвоста. Радиотелефон донес его голос:

— Держусь, командир, уходите на бреющий!

Стало спокойнее: с сержантом, выходит, ничего не случилось. Однако Архипов был ранен, только не выдал себя. Очередь одного из истребителей прошла по фюзеляжу, осколки попали стрелку в живот. Но он, преодолевая боль, не отрывался от пулемета. Коленом придавил к ране набухавшую кровью одежду — так мы его потом и вытащили из кабины...

После первой атаки «фоккеры» разделились: два пошли на Захарченко, остальные пытались взять в клещи ведущего. Как Архипов держался, трудно себе представить, однако он стрелял и стрелял по истребителю, который атаковал справа, ближе всех. Оглянувшись на миг, Богданов увидел, что этого, правого, уже нет за хвостом: «фоккер» падал.

В это время очередь другого истребителя вновь полоснула по фюзеляжу «Ила», и несколько осколков впелись в левую ногу Архипова. Теперь он не мог упираться и ею в борт. Но продолжал стрелять, наверное, одной рукой, а другой держался за край кабины. Стрелял прерывисто и, может быть, не совсем уверенно, только отбил и новую атаку.

— Держусь, командир, держусь,— прохрипел с трудом, и Богданов на сей раз понял, что дело плохо.

Между тем положение в бою изменилось. Врагов стало на одного меньше, а штурмовики, выдержав первые, самые тяжелые минуты, развернулись парой в лоб «фоккерам», чтобы ударить по нападавшим из пушек. В воздухе еще раз вспыхнуло пламя: второй истребитель, оставляя за собой черную дымную полосу, пошел к земле.

Оставшаяся четверка ретировалась в облака. Бой, начавшийся ошибкой, наши летчики все же выиграли. Но дорогой ценой.

Богданов не знал, что произошло в задней кабине: связь не работала, ведомый отстал, его самолет тоже был поврежден...

Когда мы возвратились на базу, подполковник Степанов — он был уже в этом звании — сказал на разборе действий группы:

— Легких полетов, запомните, на войне не бывает. И никогда не забывайте: расслабишься — соьют, даже на минуту нельзя себе слабину позволять.

...Еще продолжалось наступление от Свири, где наши войска, проломив вражескую оборону, пошли вперед, когда началась новая — Нарвская операция. Все понимали: успех здесь, на южной стороне Финского залива, распахнет ворота в Прибалтику. Хорошо понимал это и противник. Чтобы укрепить фланг своего фронта, он подтянул в Нарвскую губу корабли, прикрытые мощным зенитным щитом. Разведка насчитывала в порядке, собранном врагом, до пятнадцати вымпелов. Уничтожить его как боевую силу поручили штурмовикам дивизии.

— Это будет «орешек» еще потруднее, чем в мае у Херсонеса, — наставлял нас майор Кибизов. — От каждого экипажа потребуются особая смелость, выдержка, мастерство. Разъяснению этого и надо подчинить сейчас всю политрабоду.

— Не лишне, считаю, будет и историю вспомнить, — добавил капитан Кузнецов. — Это ведь у Нарвы Петр I потерпел неудачу из-за предательства иностранных генералов, и вот что писал к сему случаю Энгельс. Я тут интересную цитатку подыскал, послушайте: «Нарва была первым серьезным поражением поднимающейся нации, решительный дух которой учился побеждать даже на поражениях». Ясно? Решительный дух молодой России еще тогда, в 1700 году, здесь веял!

— Бог с тобой, Николай Александрович, куда хватил, — отозвался Лапкин. — Зачем в глубь веков залезать? Да мы и сами набирали силу на поражениях. А сейчас, думаю, лучше строить работу на положительном опыте — молодым в полку есть на кого равняться, у кого набираться науки побеждать.

Может, и прав был парторг, но меня затронули слова, которые привел наш агитатор. Совсем недалеко от Нарвы — под Кингисеппом, в Беззаботном, я начинал войну, здесь прошел через ее первые потери и окружение. И как это верно сказано у Энгельса: решительный дух молодой России учился побеждать даже на поражениях! Будто про эту, нашу войну — нужно запомнить обязательно. Звучит — ведь все, что перегрузило тогда душу,

уже отошло и развеялось очистительными ветрами наступления...

Первые штурмовые удары по гитлеровскому ордеру не принесли успеха — очень плотной оказалась его противовоздушная оборона. Вылетали эскадрильи за эскадрилей, но сил оказывалось недостаточно. Несколько «Илов» были сбиты — над морем это почти всегда равнозначно гибели; недаром говорят, что оно хорошо с берега. В соседнем полку, правда, вернулся, пройдя через морскую купель, гвардии старший лейтенант Георгий Кузнецов, об этом случае много говорили во всей дивизии. Молодой еще летчик — он воевал к тому времени около года — сумел на горящей машине, почти не слушавшейся управления, отойти подальше от цели, притерся к волне и, пока самолет огненной ракетой погружался в воду, успел отстегнуть лямки парашюта и с большим трудом выбраться на поверхность. Несколько часов летчик и воздушный стрелок Иван Стрижак держались на плаву, а потом, к счастью, их спас наш катер. Однако то было, пожалуй, исключение.

Ценой потерь удалось в Нарвском заливе потопить два или три корабля из состава вражеского ордера, но он пополнялся новыми. Этот отряд даже получил в дивизии название «заколдованного»: несмотря на удары, продолжал боевой дозор, как ни в чем не бывало, в полном составе. То ли ключевая позиция объясняла столь настойчивую мобильность противника, или он шел, что называется, ва-банк, учитывая общую ситуацию на Балтике, а скорее, имело значение и то, и другое, только было ясно: уничтожить отряд надо целиком. Поставив такую задачу перед штурмовиками, командование решило атаковать корабли в заливе всей силой дивизии.

Операцию возглавил полковник Николай Васильевич Челноков, командир 8-го гвардейского. Герой Советского Союза, как и командир нашего полка, он еще в 1941 году, одним из первых в авиации флота освоил «Илы», воевал под Ленинградом, потом на Черноморье, летал днем и ночью, имел солидный личный боевой счет — словом, был известнейшим лидером штурмовиков. Много фронтовых аэродромов обошли слова, которые он часто повторял подчиненным: «Напал на цель — бей до конца; мало паразитить — надо уничтожить!»

Именно это определяло теперь суть боевых задач. И конечно, не только в Нарвском заливе. В начале войны, истосковавшиеся по желанным переменам в ее долгом



необратимом течении, мы искали в сводках хоть какие-либо признаки добрых известий. А теперь день за днем приносили сообщения о стремительных ударах наступающих советских фронтов, окружении и разгроме гитлеровских дивизий. Научились воевать так, чтобы уничтожать врага. Вот и у нас, в штурмовой авиации, челноковский афоризм, который прежде, — когда, скажем, летали на «утятах», — выражал бы больше надежды, чем реальность, теперь пришелся точно ко времени. Есть на чем воевать и есть кому! Тактическую мудрость приобрели наши командиры, особую закалку прошли летчики да и политработники, стрелки, техники. И я стал многое понимать, от чего раньше был далек, — к примеру, судить со знанием предмета о тактике штурмовок кораблей противника.

...Эскадрильи — уже не полка, а всей дивизии — взлетали шестерка за шестеркой, постепенно выстраиваясь необычным порядком, похожим на растянутую этажерку. На сей раз было задумано применить все лучшее, что накопил опыт воздушных атак в море, — применить в комплексе, чтобы враг испробовал «трехслойный пирог», который с успехом использовался, хотя и не в таких масштабах, когда разгорелось сражение за Крым.

Челноков повел этот свой воздушный строй, минуя Нарвский залив, дальше на запад. Потом, развернувшись на 180 градусов и рассредоточив «этажерку» веером, вышел на цель с моря, держа в хвосте солнце — дело было к вечеру, когда в его косых лучах не сразу заметишь самолеты. Хитрость удалась, позволила обрушиться на корабли неожиданно. Первыми атаковали их штурмовики, которые с большой скоростью, едва не касаясь волн, выходили на топмачтовое бомбометание. Следом пикировали группы, бомбившие с малых высот. И довершал дело наш эшелон, который бил по ордеру с обычных четырехсот метров.

Все было разыграно, как по нотам, запомнилась навсегда эта боевая симфония: подсвеченное солнцем море и над ним — неохватные с одного взгляда, вверху и внизу, самолетные ярусы. В небе, гудящем моторами, замелькали разрывы зенитных снарядов, но «трехслойная» атака полностью расстроила оборону врага, позволила ворваться между кораблями и нанести по ним каскад точных ударов. Большинство боевых единиц ордера были потоплены или серьезно повреждены. Один из них пустила ко дну наша шестерка; бомбы пришлось в середину

палубы крупного сторожевика, и взрывы, точно скорлупку, разломали его пополам.

Пополнить отряд было уже невозможно — гитлеровцы отвели ночью оставшиеся на плаву корабли западнее. А штурмовые полки дивизии потеряли лишь два экипажа — благодаря массированной атаке, построенной на сложном тактическом маневре, победа была одержана сравнительно малой кровью.

Взорванный сторожевик и еще один корабль из состава Нарвского ордера, потопленный другой шестеркой, мы записали на боевой счет комсомольцев — такой счет, по примеру Севастопольского, завели и здесь, на Балтике, только теперь уже не всего полка, а именно комсомольцев.

— Будет отдельный счет, — доказывал я, отстаивая интересы своего «ведомства», — молодежь почувствует больше веры в себя, и комсомольская работа пойдет веселее. А еще для истории это важно...

Последнее утверждение было почерпнуто в газете Военно-Воздушных Сил флота «Летчик Балтики», которая 12 июля 1944 года писала: «Когда в будущем историки станут изучать эпоху Великой Отечественной войны, они как самую драгоценную реликвию бережно возьмут документы наших дней и сквозь пожелтевшие от времени листы увидят лица тех, кто жил и боролся в годы Великой Отечественной войны».

— Все так, но дело это тонкое, — предупреждал Иван Васильевич Лапкин. — К ратной славе каждый тянется, и хорошо, что тянется. Однако по ступенькам почета война сама всех честно расставит.

— Какие тут могут быть «ступеньки»?

— А такие. Припишите себе, раз уж отдельный счет заводите, а другие, глядишь, справедливо скажут: топили-то корабль вместе. И не только комсомолия. Показуху, словом, можно раздуть...

Мне показались тогда эти поучения книжными, пустыми, хотя потом — об этом еще рассказ впереди — довелось убедиться, что опасения парторга были не совсем лишены основания. Но как бы то ни стало, взяли за правило: записывать данные в наш боевой счет лишь после подтверждения штаба и только в том случае, если в составе группы, наносившей удар по цели, действительно летало большинство комсомольцев.

Альбом с фотографиями-подтверждениями и краткими результатами удачных боев составлял, конечно, хотя и

заметную, даже в чем-то парадную, но малую частицу работы с летной молодежью. Просматривая сейчас беглые записи той поры, вижу за ними дорогие лица товарищей, многих из которых унесли последние месяцы войны, — отзывчивых на помощь, стремившихся всегда поделить-ся тем, что выстрадали, чему научились под огнем врага. «Штурман комсомолец Клименко познакомил новичков с особенностями нашего района боевых действий»... «Флагманскому воздушному стрелку Бабину поручил разобрать ошибки двух стрелков в последнем вылете»... «Комсомолец-летчик Беляков рассказал пополнению, как добиться точности бомбометания с малых высот»... «В эскадрилье капитана Георгия Попова разбили в лесу за самолетными капонирами большую палатку под маскировочной сетью — получилось нечто вроде своего красного уголка. И назвали «Зеленый шум» — перед вылетом всегда тянет к земному. Сегодня проводим там комсомольское собрание»...

Одним из тех, кто безотказно брался за поручения, был летчик-комсомолец Борис Филиппов. Он, помнится, приехал в полк из училища в черный день: накануне сгорел в бою командир звена, общий любимец Михаил Филиппов. Бывает, занимал человек в нашей жизни вроде бы большое место, но вот его нет, и вокруг не очень-то задумываются, какой след в нас он оставил. С Михаилом было и не могло не быть иначе: дерзостно смелый и жесткий в боевых вылетах, он отличался в обиходе такой общительностью и готовностью помочь, что для многих стал близким человеком, настоящим по-братимом. И острую душевную боль испытывали все.

Потери, потери... Вечный огонь войны изрежал летный состав, в нем постоянно ощущался в полку дефицит. Пополнения всегда ждали, встречали новичков приветливо. Но в тот день, когда приехал Борис, было не до него: вчерашняя утрата заполнила чувства, притупив интерес к новому товарищу. Однако, когда он представился летчикам, стену молчаливого отчуждения сразу прорвало градом вопросов:

— Как-как?.. Филиппов?.. Правда?..

— Да ты знаешь, какая это для нас фамилия?

— Может, сродственник нашему Михаилу?

Волей случая один Филиппов становился на место другого, и это сразу выплеснуло наружу переживания, которые каждый носил в себе. Окружив новичка, мы наперебой рассказывали о погибшем однофамильце, его

отваге и летном мастерстве, победах и последнем бое. И все почувствовали к Борису особое расположение. А он, было видно, растерялся от этого внимания — понимал, что от него многого ждут с самого начала фронтовой жизни. Смущаясь и, как мне показалось, даже покраснев, он только робко говорил:

— Я буду стремиться... Постараюсь, чтобы стать достойным вашего друга...

К зениту Нарвского сражения Борис Филиппов был уже испытанным воздушным бойцом, участвовал в штурмовках кораблей и опорных пунктов врага на передовой, в комсомольском счету за ним значились две взорванные БДБ, поврежденный транспорт, три разбитых гитлеровских батареи, подавленный дот. И когда лейтенанту поручили беседу с молодыми летчиками, прибывшими в полк прямо из училища, как еще недавно он сам, Борис начал с рассказа о Михаиле Филиппове — человеке, которого никогда не видел, но которого считал старшим фронтовым братом.

— Разве в фамилии дело? — наивно спросил один из новичков. — Просто совпадение, слепая игра случая.

— Верно, совпадение случайное. Но не случайно кровное родство, рожденное войной. Заняв в строю эскадрильи место Михаила, должен, считаю, воевать за двоих. За него, пожалуй, даже лучше, чем за себя... Вот и вы подумайте, чем обязаны поколению летчиков, заплативших кровью, самой жизнью ради освобождения Новороссийска и Севастополя, очищения Балтики...

Такие встречи возникали по разным поводам.

Фронтовая жизнь не оставляла места для распланированных заранее «мероприятий», да и не были, думаю, они нужны — все на ходу, по горячим следам радостей и неудач. Беседа, в которой поворот ладоней изображал маневр, позицию атаки и сам удар, короткое собрание, доверительный разговор под крылом самолета служили одному: лучше подготовить летную молодежь к испытаниям завтрашнего боя. А каждый из наступавших дней этого жаркого лета вмещал так много, словно время опять притормозило свой извечный бег.

От нарвских рубежей немецкий флот оттягивался к Таллину, туда перенеслись и наши мысли. Еще в курсантскую пору, предвоенной зимой, мне довелось пробыть в этом городе несколько дней. Остались в памяти резко очерченный над морем его готический профиль, центральная площадь с легкой, вознесшейся к небу ратушей,

башни древнего Вышгорода. Но по-прежнему Таллин был далек, с нашего аэродрома он для «Илов» считался практически малодоступным. Хотя самые опытные штурмовики летали почти до самой эстонской столицы — с дополнительными бачками горючего, но на крайней черте возможного. Без запаса времени даже в несколько лишних минут, а кто знает, что случится в бою?

Однажды утром поступил приказ: настичь отходящие к Таллину вражеские корабли. Командир полка решил на сей раз доверить это задание летчикам достаточно зрелым, но не самым видным асам полка: надо было приучать молодежь к новым условиям.

— На пробу крыла посылаем вашу пару, — наставлял он командира звена Михаила Белякова и его ведомого Анатолия Набойченко. — Не зарывайтесь, держите оптимальный режим, выжимайте сполна каждую секунду — риск хорош тогда, когда он обоснован. И помните: ударить по кораблям у Таллина — значит, еще раз доказать, что и мы не лыком шиты, тоже можем кое-что сделать в операции, которая начинается. Ясно? От вас зависит — доказать.

Он так подчеркнул это дважды произнесенное слово, будто продолжал ранее начатый спор, отводя доводы осторожности и перестраховки. Может, и в самом деле ему нелегко далось принятое решение. Разобрав детально план полета, Степанян неожиданно для меня сказал:

— С Беляковым воздушным стрелком пойдет комсорг. Пусть потом всей комсомолии расскажет, что значит с умом летать. С умом!..

...Под нами море, чистое сегодня, как небо — словно грань стихий, войны и мира; берег давно растаял в этой бескрайней сини. Где-то слева — там, за Нарвой, войска Ленинградского фронта готовятся снова двинуться на Запад. Как и мы, к Таллину. Идем высоко, и потому кажется, что километры слишком медленно, неохотно остаются позади. А ведь уже сбросили подвесные бачки: опустошены до капли. Отправлено в штаб первое — по необходимости скупое, так диктует безопасность, — радиодонесение: «На траверзе Кунды. Кораблей пока нет». Все дальше расстилается внизу ровное, спокойное полотнище моря. Эх, только бы не успели войти в порт эти корабли, если они действительно существуют! Атаковать врага в самой базе с ее мощным зенитным и истребительным прикрытием нам решительно запрещено: двум штурмовикам это просто не по силам. Неужели же на-

прасен долгий рейд и мы несумеем подтвердить логикой боя расчет командира полка, его доверие?

Уже совсем недалеко Таллин, надежда на успех становится призрачнее. Но как раз в эти последние минуты, доступные для полета к цели, когда впору думать о возвращении, Беляков замечает: впереди по курсу, ближе к берегу, что-то движется. Да-да, несомненно, судно. Какое, пока трудно определить, но мы быстро сближаемся... Вот теперь ясно, что это тральщик, крупный тральщик, наверно, замыкающий в караване, за которым вдогонку нас выпустили. На корабле долго не обнаруживают воздушную атаку: конечно же, не ждут штурмовиков у самого Таллина. Но наконец разглядели: ценный след за кормой резко катится влево, навстречу самолетам потянулся острый пунктир огневой трассы. Только уже поздно!

— Бьем с ходу, — командует Михаил, и оба штурмовика, один за другим, будто связанные прочной нитью, выходят на боевое пикирование.

Сразу после удара — полный разворот, ведь запас полетного времени критически мал, только-только на возвращение. Тем более что надо еще «по пути» сфотографировать результат штурмовки, привезти таллинскую «визитную карточку». Бомбы прилипли в тральщик, что-то там горит, отбрасывая на воду красные блики; дым, подсвеченный пожаром и солнцем, накрывает корабль. Надо думать, этот дым виден из самого Таллина, и мы поспешно уходим, прижимаясь к морской глади — так надежнее, могут не заметить «мессеры», если уже поднялись: совсем близко, на аэродроме Юлемисто, расположилась их эскадра.

Возвращаемся, к счастью, без происшествий и с ходу же садимся — горючее иссякает. Быстро обрабатывают пленку, печатают кадры; вот теперь можно и вздохнуть спокойнее: все получилось здорово.

— Что ж, будем считать, тропинку проторили и для других, — сдерживая эмоции, суховаго говорил на разборе полета подполковник Степанян, но по лицу видно было, что он доволен. — Можем и будем летать к Таллину!

Когда Таллинская операция началась, противник стал подтягивать флот в западную часть Финского залива, и опыт этого вылета очень пригодился. Вся наша дивизия поддерживала наступление на побережье. Потопила транспорт группа Александра Гургенидзе, другой отправил на дно Георгий Кузнецов, еще один тральщик

пополнил личный боевой счет Юсупа Акаева... И войска от Нарвы уверенно шли вперед: 20 сентября взяли Раквере, на следующий день — Кунду, а 22-го выбили врага из самого Таллина.

В штабе полка поймали по радио передачу из Москвы, где гремел победный салют, и радостно было слушать торжественные слова приказа — благодарность выражалась и балтийским авиаторам. Но так уж устроена жизнь, а военная особенно: вместе с радостями она несет новые проблемы и заботы. Теперь, после освобождения эстонского побережья Балтики, достать врага из Куммолово ни на море, ни на суше «Илы» больше уже не могли. Снова нам предстояло перебазироваться. Куда? И сколько придется этого ждать?

В начале следующего месяца войска 1-го Прибалтийского фронта, развивая наступление из района Шяуляя, рванулись к морю, и 10 октября советские танки вышли на берег Балтики у Паланги (Палангена). Известие об этом почти сразу заслонило новое — освобождение Риги. Думалось, что где-нибудь там, на берегу Рижского залива, скорее всего и ждет нас новая база. Такая возможность меня привлекала особенно: в первую мировую войну под Ригой воевал против немцев отец, и уж не знаю, то ли генетическая память, если она существует, то ли его рассказы, сохранившиеся из впечатлений детства, волновали желанием, чтобы мы теперь отправились именно туда.

Однако логика войны диктовала на сей раз иное. Прорыв к Паланге, как саблей, рассек вражеский фронт. Группа гитлеровских армий «Север» — блокированные в Курляндии дивизии, оторванные от Восточной Пруссии, — теперь могла сообщаться с рейхом только морем. И это предопределило нашу дальнейшую военную дорогу: оседлать аэродромы в образовавшемся коридоре между Либавой (Лиенай) и Мемелем (Клайпедой), чтобы взять под удар морские коммуникации врага.

— Верховное Главнокомандование считает важным скорейшую ликвидацию Курляндской группировки противника, — разъяснял новую обстановку, собрав партийный актив, начальник политотдела дивизии. — Но для этого пока нельзя выделить необходимые силы, поскольку еще более крупные стратегические задачи решаются на других фронтах. Фашистская армия в Курляндии должна быть прочно заблокирована, особенно с моря, и флоту поручено это обеспечить, чтобы вынудить ее к ка-

питуляции. Отсюда ясно вытекает, что всю нашу полит-работу надо направить сейчас к одной цели: быстрее перебазировать полки к Паланге и немедленно включиться в боевую службу на новом месте.

Когда, выслушав подробный инструктаж, все стали расходиться, меня неожиданно вызвали к полковнику.

— Придется тебе взяться за другое дело,— без предисловий сказал он.— У нас выбыл в госпиталь Лебедев из дивизионной газеты, ответственный секретарь. Решили тебя послать туда.

— Но, товарищ полковник, этой работы я совсем не знаю.

— Ничего, как говорится, не боги горшки обжигают. Научишься. Тем более что в газету пописываешь, сам видел под заметками твою фамилию. Донесения тоже навострился составлять. Иди к Лагошному, доложишь, в полк из политотдела уже сообщили, что забираем тебя.

Поистине война тасует судьбы, направляя многие из них в новое русло. Снова круто повернулась и моя военная судьба — именно это означал перевод в газету.

Редактор — старший лейтенант Владимир Лагошный, которого я уже немного знал, встретил добродушно, хотя и вздохнул, поняв, что прислали ему неопытного новичка.

— Газету можно любить, как человека,— сразу же выразил редактор свое кредо, и на его округлых, чисто выбритых щеках заиграла радостью прикосновения к любимой теме довольная улыбка.— У каждой газеты собственное лицо, ни с кем не спутаешь. Вот наша «За победу!» — маленькая, всего в четверть листа, а в дивизии, думаю, всем дорога. И ты об этом не забывай.

Достав из глубины выдавшего виды чемодана книжку в синем переплете, Лагошный протянул ее мне:

— Познакомься, это о выпуске газеты. Учебник Вяземского, с гражданки еще берегу, ценная вещь для нашего брата. Пока время есть, подковывайся. Я-то ведь с первой группой в Палангу улетаю, а тебе придется эшелона ждать; все наше имущество,— он обвел рукой ящики со шрифтом, небольшую печатную машину — «американку», громоздкий радиоприемник,— железной дорогой пойдет. Когда еще вагоны подадут...

Даже на первый взгляд все в редакции, к чему ни присматривался, было новым, непривычным. И постоянно острый запах типографской краски, и наборные кассы, таившие в своих клеточках, казалось, какую-то скрытую



мудрость, и тугие рулоны снежно-белой бумаги — сколько же на ней можно разного напечатать... Вот только как ее делать, газету? В учебнике много чего сказано про верстку, правку, шрифты. Но главного — как писать уже не прежние военкоровские заметки, а как Лагошный, который подписывал большие статьи и очерки романтическим псевдонимом «В. Лидин», там не нашел. И, отложив книжку, взялся за газетную подшивку. Верно ведь сказано, уж не помню кем: опыт сокращает нам познание быстро текущей жизни!

...Эшелон с тылами дивизии двинулся к Шяуляю в первых числах ноября. В проеме открытой двери нашей теплушки кружила, уплывала назад земля, перепаханная боями, — обугленные, посеченные рощи, буро-серое месиво незасаженных полей, разбитые станционные постройки рядом с останками взорванных вагонов. Сколько же человеческого труда, тепла, крови понадобится, чтобы ее оживить! Но и труд, и кровь по-прежнему забирает молох войны. Отсюда, из медленно тащившегося поезда, она представлялась грозным ураганом, который, набрав силу, пролетел над этой землей и, оставив скорбные раны, бушует сейчас на балтийском побережье у Мемеля, бушует и дальше — на всем огромном фронте, выгибающемся на Запад. Там ждут и нас, там наше место. Спешите, эшелон, спешите!



**ФРОНТ С СЕВЕРА,  
С ЮГА, С МОРЯ...**

**В** Паланге дивизионная редакция заняла отдельный домик на центральной площади. Комнатка для Лагошного, еще одна каморка — мне с литсотрудником Гришей Кориным, начинающим поэтом, в третьей помещен женский «матросский состав» — две наши наборщицы, их все звали просто Маша и Таня, а в самой большой установили типографское оборудование, здесь же устроился наш печатник старший сержант Василий Портнов. Вот и вся редакция.

Место было удобное: напротив, с другой стороны площади, — политотдел, поблизости — только пройти через мостик над безмянным ручьем — здание курзала, где находился штаб и столовались летчики. Но, конечно, главной базой нашей работы стали аэродромы полков дивизии; до них тоже недолго добираться — 47-й авиаполк и истребители почти на самой окраине Паланги, 3-й гвардейский — в нескольких километрах, близ посел-

ка Швентойя. Впрочем, иначе и быть не могло: коридор к Балтике, отвоеванный у врага, оставался еще совсем узким; фронт проходил, можно сказать, рядом — оттуда порой отчетливо доносились раскаты боя. И совсем близко — за седыми шапками дюн глухо ворочалось море. Оперативный простор на вражеских коммуникациях!

Быстро установился порядок редакционной жизни. Дни проводили на аэродромах, а когда удавалось — и в боевых полетах; ночью ловили по нашему старенькому радиоприемнику специальную медленную передачу очередной сводки Совинформбюро, выстраивая слово за словом, кляня помехи и стараясь расшифровать пропуски; обрабатывали блокнотные записи: беседы с летчиками превращались в их статьи, наблюдения и впечатления — в заметки, корреспонденции. Все это еще «горячим», листок за листком, шло прямо наборщицам, потом ложилось в верстку, и, наконец, наступало время, когда можно было по очереди — дело тяжелое — крутить, набирая обороты, маховое колесо нашей печатной «американки». Обычно под утро с нее сходили последние оттиски, из полков дивизии приезжали за тиражом, пачки газет быстро таяли, и только тогда можно было немного передохнуть, чтобы потом спешить к полетам нового дня, занимавшегося в тусклой, медленно рассеивавшейся осенней мгле. «Опыт, опыт и еще раз опыт боевой работы! — требовало командование, повторяли в политотделе. — Наша газета должна по крупницам собирать боевой опыт для всех».

Штурмовики действовали из Паланги не только по морским целям, часто приходилось снова поддерживать сухопутные войска. Особенно под Мемелем, где немецкие части, блокированные полукольцом у города, хотя и общались со своими тылами лишь через длинную косу Курише-Нерунг, словно меч, отрубившую Мемельский залив от моря, но не оставляли попыток смять наш коридор и, прорвавшись через него, соединиться на побережье с группой армий «Север» в Курляндии. Опыта ударов по вражеским дотам, батареям, танкам на переднем крае у нового поколения летчиков, составлявшего большинство в дивизии, в общем-то почти не было.

В первых числах декабря мне довелось вылететь за стрелка с Константином Благодаровым, командиром эскадрильи гвардейского полка, который повел свою шестерку на штурмовку танковой группы противника. Сам капитан был из «ветеранов» да и постарше дру-

гих — тогда разница в несколько лет уже много значила, до войны успел окончить на родине — в Саратове гражданский техникум, потом школу ГВФ, к нам в полк из летного училища он прибыл в Анапе, за этот год с лишним стал признанным вожаком штурмовиков. А его ведомые — молодые летчики Бурштейн, Водянов, Кириллов и другие представляли как раз то пополнение, которому еще предстояло набираться боевого умения.

Перед вылетом командир озабоченно оглядел хмурое небо с низко нависшими тучами и аэродромное поле, чуть присыпанное снежком, со свежими шрамами борозд, продавленных тяжелыми машинами.

— Да, сегодня погода не подарок, плохо работает «небесная канцелярия». Главное — высоты не наберешь. Придется идти без прикрытия. Так что смотрите в оба: «фоккеры» — они только и ждут из облаков вынырнуть, чтобы дорогих гостей огоньком с пылу, с жару встретить...

Крепкий, веселый человек Благодаров, его добродушное круглое русское лицо, обрамленное блестящим шлемофоном, так и светится, хотя полет предстоит действительно трудный. Это, думаю, от уверенности: чувствует свою силу, не зря полковая молва давно уже утвердилась в том, что гвардии капитан из любого положения выход найдет. Хорошо с таким лететь, обязательно будет, что написать из боевого опыта!

...Едва поднялись, набрали скорость — тут уже должен быть и фронт; идем низко, метров двести, не больше, выше облачность не пускает, но сколько ни вглядываюсь, ничего толком внизу не вижу. Мелькают перелески, подбеленные пятна полян, вот узким прочерком легла вроде бы цепочка окопов. Но отчего так тихо, безжизненно все, где гитлеровцы — не снегом же их засыпало? Даже не стреляют — не хотят, значит, себя обнаруживать. Делаем один круг, другой. Вслед за капитаном, легкими клевками направляя машины туда, где заметны окопы или предположительно могут быть замаскированные доты, летчики постреливают короткими очередями. Молчат фашисты! И как сквозь землю провалились те танки, которые нас послали штурмовать.

Слышу голос Благодарова:

— В загадки играют... Ну, ничего, попробуем их еще пощупать...

Под нами — широкая поляна, на которой совсем помирному аккуратно расставлены большие копны сена;

командир доворачивает и неожиданно бьет «эр-эсами» по одной из них. Точно! Взрывы разметали копну, и из-под дыма, покрытый блестками пламени, показался черный квадрат танка.

— Вот они где! Атака всем пеленгом! Каждому свою цель!— резко, будто только и ждал этого, командует Благодаров.

От зашевелившихся копен потянулись огненные трассы, справа из леска начали бить зенитные автоматы, и небо вокруг зарябило. Но отвлекаться на них нельзя, главное — танки; вышли на боевой курс — надо терпеть.

Самолет потряхивает в такт выстрелам наших пушек, а вот и облегчающий толчок — сброшены бомбы. Высота мала, мы едва успеваем проскочить их разрывы. Окидывая взгляд поляну: вся она в кустистых беспорядочных дымах, накрыли, выходит. Еще бы теперь на бредущем сразу прорваться из зоны обстрела... Но капитан приказывает развернуться:

— Второй заход! Подбросим еще горяченького из пушек!

«Илы» рыскают на противозенитных маневрах, и от этого наш строй заметно растягивается. Пытаюсь следить за ними, но азарт новой атаки притягивает взор к земле.

— В облаках слева «фоккеры»!— Это опять голос командира — как только он успевает все видеть?— Подтянулись, быстрее соберитесь! Стрелки, отбивайте!

Действительно, по нижней кромке ватной тучи, будто прилепившись к ней, скользят, как тени, два «Фокке-Вульфа». Вызвали помощь, а поспела она к шапошному разбору. Да и на что этой паре рассчитывать — мы уж знаем, какие они храбрецы, когда в меньшинстве. Разве что могли вывалиться из облаков сразу над нами, не промахнувшись. Правильно командир решил не прекращать атаку...

Все это проносится в голове за короткие секунды, пока «фоккеры» по дуге заходят сзади, поворачивая к нам носы. Огонь открывают издали. Подпустить бы их поближе, на прицельную дистанцию, но как тут утерпеть, и воздушные стрелки всех машин начинают бить в ответ. Для меня тоже уже ничего больше нет вокруг, полная отрешенность от всего — только эти тупорылые силуэты, вспыхивающие нам вдогонку красноватыми трассами. Стреляя по ним, и себя-то чувствуешь продолжением пулемета.

Внезапно опора под ногами поплыла вниз, я разом потерял головной истребитель в прицеле, и резко оборвавшийся пулеметный стук подхватил, басовито накатываясь, голос бортовых пушек. Тьфу, черт, значит, мы уже над целью, опять штурмуем!..

— Как «фоккеры»? Где?— спрашивает командир, выравнивая после атаки самолет низко над молодым леском.

— Отвалили, на сближение не рискнули. Кажется, снова ушли в облака...

Группа наша собралась — все вроде целы. И так хорошо на душе от удачи, что петь хочется. Верно говорят в гвардейском полку: удачливый командир Константин Благодаров. Только если вдуматься — сколько за этим стоит умения, выдержки и той особой лихости, которая ими оправдана!

Когда мы вернулись, гвардии капитан развернул над аэродромом самолет в сторону моря и дал очереди из обеих пушек, словно точку поставил:

— Приехали!

Потом, на докладе в штабе полка, Благодарова прежде всего спросили:

— Опять салют выдал? Это в честь чего народ пугал?

— Пожгли танки, пусть все знают. Факт, а не реклама.

— У нас пока подтверждений нет. А вот пробоин привезли много, это точно. Так что подождем подбивать бабки.

— Можно и подождать, но салют по делу, не сомневайтесь.

Вскоре армейское командование передало в дивизию благодарность: «Илы» сорвали атаку немецких танков, пять из них уничтожили.

Близкий передний край часто диктовал необходимость таких вылетов на поддержку войск, однако главным для штурмовых полков оставалась борьба с кораблями противника — «фронт на море». И в нашей дивизионной газете о том было больше всего материалов, особенно про налеты на «порт Н.», как именовали по военным условиям в газете Либаву. Зимняя пора с ее коротким световым днем, ограниченные возможности воздушной разведки на растянутых коммуникациях врага и ночные по преимуществу подходы его кораблей в воды, прилегающие к основному порту окруженной Курляндской группировки,— все это делало Либаву самой главной, определяю-

щей целью. А укреплен и прикрыт огнем порт был так, что ветераны, прошедшие от Черноморья до Балтики, вспоминали теперь добром даже тяжелые полеты на Феодосию год назад:

— Это были еще цветочки...

Как же все относительно!

На волноломе и причалах Либавского порта через каждые три-четыре метра, сплошным частоколом, стояли скорострельные «эрликоны», а по всему береговому периметру еще и зенитные батареи крупного калибра; к ним добавлялись орудия боевых кораблей, а на ближних аэродромах дежурили «фоккеры» и «мессеры». Гитлеровцы защищали с воздуха свою базу яростно, понимая, что от этого зависит само существование их прижатых к морю дивизий. Чуть не каждый вылет в либавское «адово пекло» приносил потери. И уже приближаясь над морем к цели, ведущие строго предупреждали летчиков:

— Внимание! Прошли Дзантарниеки. Всем приготовиться!

К чему приготовиться, разъяснить не требовалось. Здесь пролегал, как, наверное, казалось не только мне, тот мысленный рубеж, за которым начинала действовать сурово-неизбежная формула боя: или ты, или тебя... Показывался выступающий полукольцом волнолом с южными и северными входными воротами — зона губительного зенитного огня. А подчас еще и до этого приходилось отбивать атаки поднятых заранее в воздух немецких истребителей.

В полках отрабатывали различные тактические маневры, чтобы успешнее пробиваться через мощный огневой заслон, и общим девизом, подхваченным нашей газетой, стало: «Никакого шаблона в бою, шаблон — подарок фашистам!» Как-то в один из нелетных из-за плохой погоды дней, когда все сидели по аэродромным землянкам в напрасном ожидании перемены, об этом зашел разговор в эскадрилье Георгия Кузнецова, к тому времени уже гвардии капитана и Героя Советского Союза.

— Вот вы на низкую облачность сетуете, — говорил он молодым летчикам, — а ведь иной раз и облачность может стать нашим союзником... Расскажу про такой случай — уже давно по военным меркам это было, но помню, все помню. Был у нас в полку летчик, еще сравнительно новичок тогда — вылетов пятнадцать, от силы двадцать имел за спиной. Но вышло так, что именно его послали ведущим пятерки «Илов» — проштурмовать пе-

редний край врага. Погода стояла как сейчас, разве что облака чуть повыше. Несмотря на это, цель удалось отыскать, проутюжили ее четырьмя заходами и задание выполнили. А на обратном пути, над морем, встретили большую группу «мессеров». Что делать? Прикрытия нет, маневрировать трудно: внизу вода, сверху облачность, боезапас на штурмовке поизрасходовали, а немцы насаждают. И ведущий решил уйти в облака, хотя вслепую он и сам-то, не говоря уж о ведомых, не летал. Пришлось рисковать — только дал команду разойтись веером...

На этом месте рассказа явился посыльный: гвардии капитана срочно вызывали в штаб полка.

— В общем, так скажу: главное — никогда не теряться. Кто смел, тот и съел, знаете, поди, такую половицу. Можно еще добавить поправочку: кто смел да умел... Все ясно?

Кузнецов поднялся, чтобы уйти.

— Пойдите, а как же с теми летчиками? — спросил кто-то. — Что дальше было, вернулись они?

Гвардии капитан улыбнулся, в глазах его промелькнула хитринка.

— Через пять минут выскочили из облачности, собрались и домой пришли. Повезло, можно сказать.

Дверь землянки за комэском закрылась, а мне подумалось: рассказывал он это, наверное, о себе и скорее всего не зря — что-то за этим есть, не иначе.

Оказалось, верно — предложил Кузнецов выходить на Либавский порт из облачности, даже если она низкая. Группой на тяжелых «Илах» до той поры никто у нас так не летал: считалось — риск не оправдан, потому что большинство летчиков по военным условиям не успели освоить слепых полетов. Только признанные лидеры, отправляясь на свободную «охоту» за кораблями, позволяли себе по необходимости надолго забираться в облака. Но им-то опыт давал возможность всегда чувствовать ту грань, до которой оправдан риск.

Тем не менее, проведя наземную подготовку и строго определив маршрутный порядок, Кузнецов уже через несколько дней после того разговора в землянке вывел свою группу на Либаву именно так — из облачности. Очень пригодилась идея «веера», о которой он вспомнил, обдумывая строй полета. «Илы» прорвали пелену облаков, как и было определено заранее, перед самым портом — на скорости и широким фронтом, удобным для маневра. Причем прямо по курсу командира оказался впереди



«Фокке-Вульф», он пристраивался атаковать замыкающий самолет из группы наших же штурмовиков, которая шла впереди. Поймав немца в прицел, Кузнецов успел дать по нему точные пушечные очереди. Как падал сбитый с ходу «фоккер», выделывая замысловатые перевороты, он уже не видел — пикировал на корабли в гавани, но у ведомых весь этот скоротечный бой был перед глазами. Бомбовый удар, неожиданный для гитлеровцев, с опозданием открывших огонь навстречу новой шестерке штурмовиков, которые свалились словно снег на голову, оказался тоже успешным: «Илы» потопили базовый тральщик. И вернулись на сей раз без потерь.

Этот смелый маневр — «все вдруг из облаков», хотя и продолжал вызывать сомнения у иных осторожных и не совсем уверенных в себе летчиков, был одобрен командиром полка. Так пополнялся коллективный опыт, позволявший изменять привычную тактику боя на новую, нешаблонную.

Однако не всегда даже самые удачные маневры приводили к успеху, выпадали и неизбежные на войне горькие дни. То, что еще вчера могло считаться новым, повторяясь, становилось ожидаемым противником.

На 14 декабря был назначен массированный удар всей дивизии по транспортам и боевым кораблям, скопившимся в Либаве. Казалось бы, предусмотрели все: последовательность атаки с разных высот, «этажеркой», так надежно опробованной еще на Черноморье, а потом и здесь на Балтике; группы подавления зениток; сильное истребительное прикрытие... Но гитлеровское командование заранее подняло в воздух около тридцати истребителей «Фокке-Вульф-190», связавших боем наши самолеты еще на подходе, а над самим портом небо было настолько располосовано трассирующими пунктирами, испещрено густыми оспинами разрывов, что прорываться к кораблям приходилось через плотнейшую огневую завесу.

Штурмовики и пикировщики, которые также совершили налет на Либаву, потопили здесь в этот день шесть крупных транспортов; в воздушных боях был сбит 21 вражеский истребитель. Но и наша дивизия потеряла несколько экипажей. Среди тех, кто не возвратился с задания, был и командир 47-го авиаполка Герой Советского Союза подполковник Нельсон Степанян.

— Два «фоккера» на подходе к цели взяли в клещи самолет командира, — докладывал старший лейтенант

Владимир Марков, летевший рядом в головной четверке.— Один из них я сбил, а другой...

— И никто — ни командир, ни стрелок не выпрыгнули?

— Горящий самолет продолжал идти на цель...

— Это точно, вы хорошо видели?

Видели, конечно, в скоротечной горячке тяжелого боя не всё, и мы еще долго с напряжением ждали, вглядываясь в грязно-серую кромку облаков над хмурой стеной леса вокруг аэродрома. Ждали, отводя сомнения и внемля надеждам: может быть, кто-нибудь вернется или придет весть, что сел, не дотянув домой? Говорили о Степаняне — это был, подсчитали в штабе, 240-й вылет подполковника навстречу врагу; такого боевого налета никто другой из штурмовиков дивизии не имел.

Снова и снова возвращались к утренним часам, когда на командном пункте 9-го истребительного авиаполка собрались руководители штурмовиков для координации действий на маршруте следования к Либаве и удара по порту. Именно там после зачтения боевого приказа Нельсон Георгиевич обратился к командиру дивизии Д. И. Манжосову с просьбой разрешить лично ему возглавить сегодня всю группу. А получив согласие, подошел к Акаеву, который первоначально был назначен ведущим, похлопал его дружески по плечу и сказал:

— Не унывай, Юсуп, у тебя все впереди. Будешь еще водить и побольше группы.

Припоминали разные эпизоды: всегда, всегда находил командир полка выход из самых трудных переделок. А сейчас?..

Разговор шел придавленный, с паузами, становившимися все более тягостными по мере того, как таяли даже призрачные надежды. Только потемневший лицом Лапкин, наш обычно спокойный и невозмутимый парторг, утомленно переспрашивал снова и снова каждого, кто возвратился из этого полета:

— Вспомните детали. Все, как было, как видели, подробнее и точнее...

Уже смеркалось, ждать было нечего. Однако не укладывалось в голове, что человек, который всегда шел в бой впереди своих летчиков и столько раз расправлялся со смертью, побеждая ее не только сам, для себя, но и выручая других, бесследно исчез в небе над Либавой. Как это несправедливо! Пусть уже ничего нельзя изменить, хотелось приукрасить хоть чем-либо особо героическим

эту гибель. Только ведь, кроме атаки «фоккеров», что мы еще знали?

Про себя повторял — вслух ни за что бы не решился — строфу Багрицкого, тогда моего любимого поэта:

И в каждой битве знак особый  
Дела героев освещал  
И страшным блеском покрывал  
Земле не преданные гробы...

На следующий день подготовили было материал о боевом пути Нельсона Степаняна; тогда и подсчитали, что за полтора года под его командованием летчики 47-го авиаполка потопили более пятидесяти кораблей и транспортов противника. Целая флотилия! Однако в политотделе сочли, что с такой публикацией надо подождать: «Подтверждение через газету гибели наших выдающихся летчиков может укрепить дух противника и вызвать уныние в собственных рядах».

В жизни мы нередко сталкиваемся с различными ситуациями, когда говорят: «Подождем, а там посмотрим», уходя от решения, — осторожность вроде бы диктуется лучшими намерениями. Мне тогда, в силу юношеского максимализма, представлялась такая установка чистой воды перестраховкой: как бы чего не вышло. Ну какой в самом деле смысл был молчать в газете о том, что в дивизии всем известно? Тем более что в эскадрильях полка среди самих летчиков родился, зазвучал и был принят всеми девиз: «Отомстим врагу за командира!» С «унынием» этот призыв, конечно, ничего общего не имел. Зачем же скрывать правду на печатных страницах?

Высказав все это Лагошному, услышал в ответ:

— Перестраховка, говоришь? Пусть так, только зелен ты еще судить, через многое не прошел. Правду о гибели Степаняна никто и не скрывает, сам на митинге в полку был. А вот надо ли в нашей газете писать, другой вопрос. Взвешенность и перестраховка — разные вещи, путать их нельзя. И она-то, взвешенность, ох как нужна. Что не написано, не может быть раскритиковано. Это запомни. Работа у нас тонкая, вся на виду.

— У кого на виду, у начальства?

— А как же, и у него тоже. Политотделу виднее. Так что оставь при себе эти лишние рассуждения.

— Ну а летчики, да и все в полку — как они наше молчание расценят?

Редактор молча развел руками...

Так и остались каждый при своем мнении, что важнее.

Написать подробнее о Степаныне довелось лишь после того, как месяца через три был опубликован Указ о присвоении ему посмертно звания дважды Героя Советского Союза.

Редактор не преминул тогда заметить:

— Вот видишь, теперь совсем иное дело. Понимать надо: военные соображения.

Как же, оказывается, многое можно прикрыть игрой в слова; вроде этой самой «взвешенности» или «военных соображений»!

...Фронт на севере, фронт на юге; полеты к Либаве, поиск кораблей в море, штурмовая поддержка войск на переднем крае — так закончился для нас год 1944-й. В первые январские дни Паланга снова услышала нараставшие раскаты близкой канонады, кровавыми зарницами блестело ночное небо: это усилились бои под Мемелем. Прорвать там оборону врага, замкнувшую город полукольцом, никак не удавалось. Получая по косе подкрепления из Восточной Пруссии, он отчаянно огрызнулся, отвечая упорными контратаками.

Однажды вечером, когда мы верстали газету, в редакцию прибежал из политотдела инструктор — прямо в кителе, без шинели, даром что зима. Что еще случилось?

— Эвакуация, немцы наступают, — разом выдохнул он. — Остаются только экипажи на аэродромах, да и то пока. Начальник политотдела приказал вам немедленно собрать, что успеете. Машина сейчас придет.

Лагошного не было; кажется, он остался ночевать у гвардейцев, и я от неожиданности опешил.

— А как же с номером? Мы еще не кончили...

— Да ты что, не слышишь? Противник атакует, и наши отходят. Уже дорога на Шяуляй под обстрелом. Всем приказано выезжать, потом точное указание получите. Быстрее!

И верно — «студебеккер» уже у крыльца. Вытащили наборные кассы со шрифтом, радиоприемник, подшивку газет. Шофер-сержант торопит:

— Бросьте со своим барахлом возиться. Живы будем — не помрем, еще наживете. Политотдел уже снялся.

Едем... Темень вокруг густая, лишь у курзала мелькает огонек фонарика, да впереди пульсирует зарево боя. Но вот неподалеку начинает разгораться какой-то пожар, высвечивая за косой сеткой падающего снежка урчащие грузовики у дороги и суетящихся возле них

людей. Очень похоже все это ночное бегство на панику, смутно становится на душе...

Дорогу на Шяуляй — единственную отсюда в восточном направлении — враг действительно обстреливает, но снаряды ложатся вразброс, значит, бьют по площади, без корректировки. И, набрав скорость, мы проскакиваем опасное место. Некоторое время разрывы еще доносятся сзади, но постепенно и они затихают. Едем в глубь ночи, притормаживая в небольших темных селениях, словно уснувших на пути, — должны же нас где-нибудь встретить? И куда ушли другие машины? Под утро решаем остановиться в одном из сел, чтобы обогреться и, дождавшись дня, выяснить, где мы и что должны делать дальше, — ведь отмерили от фронта уже более чем достаточно.

Следы тылов дивизии и политотдела не сразу, но удалось в конце концов обнаружить. Оказывается, свернув некстати в темноте на какой-то развилке дорог, мы забрались дальше всех. Наш печатник, посланный с машиной на поиск своих, вернулся смущенным:

— Сказали, про нас эта пословица: «У страха глаза велики». А тревога, можно считать, липовой была.

— Как это, почему?

— Сам не понимаю. Но так говорят...

И лишь позже выяснилось, что произошло. Армейское командование разработало план: выманить противника из Мемеля при очередной контратаке, чтобы потом ударить во фланг, смять и прорваться через сильно укрепленный обвод города на плечах отступающих. Якобы для маскировки этого плана была даже предусмотрена спешная эвакуация Паланги, о чем в дивизии знали только на самом «верху». Ради правдоподобия планировалась и легкая паника — хотя возникла она, думаю, сама по себе: отдавать что-либо врагу к той поре мы уже совсем отучились. Все же гитлеровцы не поддались на тщательно разработанную тактическую уловку — продвинувшись к станции Кретинга, сочли за лучшее под прикрытием сильного артогня закрепиться. Но утром, когда поднялись «Илы» и открыл огонь железнодорожный артдивизион крупного калибра, немецким танкам пришлось повернуть обратно и убраться за свои укрепленные позиции.

Весь этот эпизод оставил у нас, понятно, неприятный осадок.

— Скажем по-чапаевски: наплевать и забыть, — то ли в шутку, то ли всерьез предложил Лагошный.

Как бы там ни было, об этой злополучной ночи, будто и в самом деле договорились, больше не вспоминали. Главное — мы снова в своем обжитом редакционном доме, где прежде всего выпустили номер газеты, работа над которым оказалась прерванной при столь драматических обстоятельствах.

А чтобы взять Мемель (вернее сказать — освободить Клайпеду), понадобилось еще три недели. Лишь 28 января немцев удалось выбить из города, и фронт к югу от Паланги отодвинулся дальше — в Восточную Пруссию.

Чаще всего штурмовики дивизии летали теперь в сторону Либавы — на порт или к переднему краю. И только самым лучшим экипажам разрешали боевые рейды в море, на коммуникации противника. Да что говорить, любой полет не прост при февральской прибалтийской погодке: то дождь, то снег и тучи свисают чуть не к самой воде; видимость — хуже некуда.

Хмурым промозглым утром, приехав пораньше на аэродром 8-го гвардейского авиаполка, я расспрашивал комэска Николая Пысина о бое, который произошел за два дня до того на море западнее Либавы. Он был немногословен и явно огорчен:

- О чем рассказывать, раз не удалось подтвердить...
- Что подтвердить?
- Результат, конечно...

В тяжелых метеоусловиях Пысин сумел обнаружить большой вражеский караван. В окружении сторожевиков и тральщиков к Либавскому порту прорывались тяжелогруженные транспорты и танкер, а над ними вилась шестерка «фокке-вульфов»: видно, прилетели с базы встретить суда. Хотя силы были неравны, гвардии капитан (к той поре ему уже присвоили новое звание) без промедления пошел в атаку и поразил самый большой транспорт. Однако ведомых, на самолетах которых стояли фотоаппараты, немцы сбили, и победной «квитанции» — снимков, подтверждающих гибель транспорта, — на сей раз не оказалось. Так и не удалось в тот раз Пысину увеличить свой официальный боевой счет, хотя и без того он был самым большим в дивизии.

На командном пункте полка, где мы разговаривали, началось легкое движение — первый признак, что происходит нечто и, может быть, значительное. Появившийся из своего закутка начальник штаба обратился к гвардии капитану:

- На фронте под Либавой срочно запрашивают

воздушную поддержку. А видимости никакой, на ощупь идти надо. Не могли бы, Николай Васильевич, кого-нибудь из ваших орлов для этого выделить?

— Разрешите мне самому,— ответил он сразу, как будто только и ждал этого вопроса.— По нынешней погоде, полагаю, эдак лучше будет. Полетим парой, ведомого подберу, как вы выразились, из своих орлов.

Мне очень хотелось тоже пойти в этот полет, но Пысин решительно отказал:

— В другой раз, пожалуй. А сейчас будет трудный вылет...

Позвал своего воздушного стрелка Василия Кривских, который ожидал его в помещении рядом, и вдвоем они зашагали в эскадрилью — шли быстро, не разговаривая, потому что и без того отлично понимали друг друга... Вскоре послышался гул разогреваемых моторов, и два самолета — впереди пысинская «двадцатка», — тяжело подминая размокшую землю, вырулили на старт.

Из этого полета Пысин не возвратился.

Напарник его рассказал, что линию фронта они переходили на самой малой высоте. Попадание зенитного снаряда, видимо, повредило мотор или управление на «Иле» командира; он упал возле окопов противника, подорвавшись на своих же бомбах...

Через день наши войска продвинулись на этом участке фронта. Два офицера полка выехали туда, чтобы осмотреть все на месте. Нашли кусок хвостовой части самолета с цифрой «20», нераскрытый парашют, спасательную капку. Все остальное было разметано взрывом. Спросили у солдат:

— А что с летчиком и стрелком, не видели?

— Летчика подобрали. Убитый. А про второго что сказать? Ничего не осталось — под самый, верно, взрыв угодил, бедолага. Летчика схоронили утром в братской могиле.

...Здесь, чтобы продолжить рассказ, придется забежать далеко вперед — на целых двадцать лет. Конечно, я слышал после войны, что Пысин вернулся — не единственный из тех, кого считали погибшим. И что слова «Схоронили в братской могиле» относились к стрелку. Но подробностей не знал, а свидеться вновь удалось лишь весной 1965-го. Что же было тогда, в феврале последнего года войны? Вот как поведал об этом сам Николай Васильевич.

Взрывом его выбросило из кабины. Удар, страшный

удар — последнее, что он помнил. Очнулся — какой-то блиндаж, чужая речь. Тревога обдала тяжелой, гнетущей волной. Стал ощупывать себя — кругом боль. Под курткой, на кителе, рука наткнулась на Золотую Звезду. Выходит, не заметили гитлеровцы. Сорвал, отломил планку. Куда спрятать? В рот, под язык... Услышали, что ожил, задвигался,— сразу окрик:

— Русиш! Хальт!

Подобрали его в бессознательном состоянии — с перебитым носом, сломанной ключицей, вывихнутыми ногами. Передвигаться сам он не мог, и в Либаву, куда отправляли пленных, Пысина везли на санках два советских летчика, тоже сбитых за линией фронта. Свои же оказали ему в пересыльном лагере первую медицинскую помощь. А еще через неделю их погнали в порт, посадили на транспорт: решили вывезти из Курляндского мешка в Германию.

Ночью вышли в море. «Боятся днем», — отметил про себя Пысин. Он с каким-то ожесточением глядел на задраенный наглухо иллюминатор: может, послышатся самолеты, может быть, все-таки наши прилетят?.. Впрочем, об этом, хотя и по-другому, думали на корабле все. Здесь был целый батальон власовцев, и, не обращая внимания на пленного, несколько человек, пристроившись рядом, со страхом говорили про воздушные налеты. Вспомнили, как недавно под Либавой на таком же вот транспорте погибло три тысячи солдат — подкрепление из рейха. Все спасательные суда порта были брошены на помощь, но подобрали в море не больше тысячи, да и из тех половина поумирала в госпиталях...

По разным подробностям Пысин понял, что говорят о том самом транспорте, который атаковал он, — официально не записанном на его счет. Но это не принесло даже минутного облегчения, наоборот, горькое чувство собственного бессилия стало еще острее: эх, сейчас бы в воздух, подняться над морем!

Из разговора власовцев удалось понять, что транспорт, хотя он и вооружен орудиями, сопровождают два сторожевика, а на борту к батальону приставлены гитлеровские автоматчики. «Не доверяют, стало быть, предателям, и власовцы об этом знают!» У него мелькнула мысль, от которой по спине пробежал неприятный холодок. Попытка, вопреки пословице, могла обернуться на сей раз буквально пыткой. Однако он, не колеблясь, потребовал свидания с командиром. Против ожидания, коман-



дир власовцев явился сам — видно, зимой сорок пятого они о многом задумывались. Приказал солдатам очистить кубрик и остановился у трапа, для равновесия чуть покачиваясь.

— Ну, чего хочешь?

Без предисловий и объяснений Пысин предложил захватить транспорт, ударить неожиданно прямой наводкой по сторожевикам и повернуть к нашему берегу.

— Подумайте, что вас ждет. Вы же русские. И только кровью можете облегчить свою вину!..

Власовец лихо присвистнул. Он еще постоял, все так же раскачиваясь и, как показалось Пысину, с интересом разглядывая его, потом вышел, не отвечая.

Встреча эта не прошла бесследно: в отсеке вместо власовцев появился немецкий автоматчик, а по прибытии в порт летчика сразу же бросили в одиночку тюрьмы.

Дальше были концлагеря — один, другой, третий... Были обыски, допросы, ночные налеты охраны. Было все, чем известен гитлеровский плен. Но и через эти испытания пронес он волю к борьбе, веру в свои силы. Пронес вместе с Золотой Звездой, которую по-прежнему прятал во рту.

В лагере Вайден, под Нюрнбергом, Пысин и три других наших летчика подготовили смелый побег. Через полуразрушенную канализационную трубу, с риском быть засыпанными или просто заблудиться в подземном лабиринте, они выбрались за территорию лагеря. Когда один за другим, словно тени, беглецы выползли через случайно обнаруженный колодец и увидели позади ряды колючей проволоки, ров, вышки охраны, они были счастливы нахлынувшим чувством свободы, радостью успеха, и ничто уже не казалось страшным. Но предстояло, пожалуй, самое трудное: запутать погоню, укрыться на чужой, враждебной земле, найти путь к своим. Им помогли люди из лагеря «восточных рабочих», угнанные на чужбину, они и здесь оставались советскими патриотами...

Пысин еще надеялся принять участие в последних боях войны, стремился к этому, однако добраться до своего полка сумел только после победы.

Разумеется, о судьбе товарища мы не знали и не могли знать тогда, в конце февраля 1945-го. «Сбили Пысина!» — эта весть была особо горестной, из боевого строя выбыл известнейший летчик дивизии. Только что был рядом, всегда брался за самое трудное, учил примером своим других — и вот в одночасье растаял в огне войны. При-

выкнуть к такому нельзя, сколько бы это ни повторялось. Но боль невозвратной фронтовой потери зла, она всегда ищет утешения не в скорби — в ответе. Хотелось быстрее подняться в воздух, чтобы свести счеты с врагом. А погода, словно назло, окончательно испортилась: оттепель дышала непроглядным туманом, молочно-густая мгла окутала море и землю. «Окклюзия»<sup>1</sup>, — объясняли синоптики. «Нелетные условия», — записывали штабисты в журнале боевых действий.

Наконец, в один из первых дней марта упругие порывы крепнувшего ветра стали разгонять туман. Он растекался клочками, будто кто-то снизу расчесывал ватную пелену. И неожиданно — так поднимается занавес в театре — прямо перед палангским пляжем, метрах в трехстах от берега, открылась на море серым застывшим облаком громада транспорта. Немецкого — наших судов далеко окрест не было и не могло быть. По-видимому, сбившись в тумане с курса и опасаясь попасть в зону минных полей, капитан счел за благо бросить якорь, чтобы определиться, когда наступит прояснение. И уж конечно, гитлеровцы не могли предполагать, что окажутся, как на ладони, совсем под носом у наших летчиков.

В воздухе немедленно подняли две пары «Илов» из пысинской эскадрильи — так и продолжали ее называть. Словно на полигоне, картинно заходя на пикирование, они по всем правилам искусства атаковали транспорт — впервые такое происходило на глазах всей дивизии. Три прямых попадания бомб, взметнувшиеся фонтаны воды, рвущиеся всплески огня — и все было кончено: судно тонуло. Мы видели, как с его накренившейся палубы сплошной серой массой скатывались в воду гитлеровские солдаты — транспорт вез войска и боевую технику. В ледяной воде не очень-то поплаваешь; лишь около восьмисот из них сумели добраться до берега, насчитывалось же на борту раз в пять больше. А те, что выползли обессиленными и обмерзшими на белый песок дюн, смешанный со снегом, шагу ступить не могли. Насколько знаю, это был единственный случай, когда морским авиаторам удалось пленить столько солдат противника — численностью в целый батальон.

«Это врагу за нашего командира, — написали в дивизионную газету гвардейцы, нанешие удар по транспорту. — Добавим и еще!»

---

<sup>1</sup> Смещение холодного и теплого воздушных фронтов.

...Весна медленно брала свое, но по всему чувствовалось, что вот-вот она грянет по-настоящему. Теперь, пожалуй, никто не сомневался: дело идет к тому, что наступает последняя весна войны. Но фронт под Либавой по-прежнему оставался рядом, и отрезанная группировка врага держалась упорно, хотя авиация флота старалась плотнее закрыть морские дороги в Курляндию. Между тем в эскадрильях раздали карты района, прилегающего к Кенигсбергу, — туда перемещался центр боевых действий на Балтике.

Какой же она станет для нас, эта весна?



## ВЕСНА ПОБЕДЫ НАШЕЙ

**В** разведотделе штаба дивизии старший лейтенант, к которому меня «сплавил» его начальник, чтобы познакомить с обстановкой (своя газета — «птица» невысокого полета), щеголял с видимым удовольствием осведомленностью.

— Вот смотри, Гумбиннен и Инстербург, — показывал он по карте. — Эти города войска 3-го Белорусского фронта взяли еще в конце января и вышли к реке Дайме. Речка небольшая, но правый берег, прикрывающий путь к Кенигсбергу, крут и обрывист, поднимается стенкой. Оборонительная линия Дайме была здесь устроена еще в годы первой мировой войны. А в середине 30-х, вскоре после прихода Гитлера к власти, ее модернизировали — уже тогда, стало быть, далеко глядели на Восток...

Нашего редактора — Лагошного отозвали на какие-то курсы, мне выпало, кроме секретарских, временно выполнять еще и редакторские обязанности, к чему в общем-то

совсем не был готов; дня ни на что не хватало, и этот экскурс в историю оказался лишним.

— Вы что, лекцию решили прочесть? Давай поближе к боевым задачам полков. Передовицу надо писать, номер выпускать, а вы от первой мировой капитально топаете.

— О чем же, если не секрет, будет передовая?

— «Даешь Кенигсберг!»— о роли наших летчиков в предстоящих боях. Так в политотделе наставляли.

— Вот про то и речь. Торопыги вы, газетчики, даром что доморощенные. Слушай дальше. Когда и тут, в Восточной Пруссии, запахло для противника жареным, на линии Дайме понастроили целую систему дотов с оружием крупного калибра и огнеметами; как раз в декабре все закончили. Потом взорвали плотины, и река затопила низкий левый берег, подходы к ней теперь превратились в болото. Через него, через весь этот сильно укрепленный пояс войскам прорываться надо — ясно, сколько здесь работы для авиации?

— Понимаю так, что для нас снова главным будет помогать фронту...

— Опять спешишь. Разве я сказал «главное»? Море и флот, само собой, остаются за нами.— Он кругами поводит пальцем по голубизне карты.— Кенигсбергский порт, морской канал, залив Фрише-Хафф, все морские дороги к Кенигсбергу. И к Либаве, конечно, тоже. Все — главное, а что на каждый день — это, брат, как прикажут. Понял? Беги скорей писать, раз торопишься.

Затвердив тоном последней фразы свое служебное превосходство, он все же решил подсластить пилюлю:

— Впрочем, постой-ка, еще фактик подкину. Может пригодиться. Донесение тут пришло о допросе пленного. Когда-то, видать, учили его истории: знает офицер этот о «чуде на Марне», где в первую мировую французы сумели остановить наступающую немецкую армию. И вот показывает, что фрицы под Кенигсбергом твердят о близком «чуде на Дайме». Хотя ты, судя по всему, историю не жалуешь, а интересный фактик, да?..

После долгих зимних штормов, которые нагонял балтийский норд-ост, и затянувшихся туманов весна трудно брала свое: моросили дожди, низкая облачность часто исключала возможность полетов. А когда немного прояснялось, все было точно, как предрек старший лейтенант из разведотдела: приходил приказ штурмовать то эту самую линию Дайме, то вражеские суда на комму-

никациях. Порой от полков требовали вылетать одновременно и туда, и сюда — непогода заставляла спрессовывать время, флотскую авиацию ждали и торопили. Иной раз торопили так, что впору было растеряться.

...В середине марта, уезжая вечером с аэродрома гвардейцев, я договорился с Константином Благодаровым, чья эскадрилья получила задание следующим утром, если позволит погода, нанести штурмовой удар по переднему краю, вновь полететь с ним за воздушного стрелка. Хотелось самому увидеть — газете это нужно, — чем обернулось для немцев «чудо на Дайме»; наши войска прогрызали ее укрепления, и летчики дивизии изрядно там поработали.

Когда в назначенный ранний час приехал из Паланги в расположение гвардейского полка, стоянки уже дышали густым, размеренным гулом моторов. Первые «Илы» выруливали на старт.

— Переодевайся быстрее.— Благодаров тоже был у готовой машины.— Комбинезон и унты в землянке. Давай мигом, а то за хвостом останешься. Перенацелили нас, на море идем. И график другой, сейчас взлет.

Тут не до расспросов, только бы успеть.

Отдышаться и осмотреться удалось лишь в воздухе, когда, набирая высоту, группа выстроилась, примкнув к ведущему: два, три, четыре самолета. Почему же не вся эскадрилья? Наверное, это связано с тем, что на ходу бросил командир: перенацелили группу. Теперь я и задания толком не представляю, совсем нехорошо получилось...

Размытая полоска берега скрылась в белесой дымке. Внизу — сизая, волнистая ширь моря, не за что зацепиться глазу. Переведешь взгляд к небу — и здесь сплошная пелена, ладно хоть сегодня высокая облачность. Но что это за черные прочерки там, сзади на ее фоне? Пожалуй, самолеты, только еще далеко... Вот теперь можно сказать точно: две пары идут уступом за нами, почти в хвост. Скорее всего — истребители прикрытия, подзадержались и догоняют... Хотя что-то не то: у «Яков» в 9-м истребительном полку нашей дивизии — тонкий, изящный, выточенный конусом нос, а тут — видно уже — тупорылые, обрубленные кругляшки. «Фоккеры»?.. Похоже, похоже. Ну, еще ближе посмотрим... Они!

— Командир, командир, «фоккеры» сзади. Готовятся к атаке!

— Черт те что, не успели отойти, и на тебе. А прикры-

тие не поторопилось! — Капитан зло выругался. — Смотри и докладывай!

Ему плохо видно, что происходит сзади.

А истребители приближаются. И как идут — будто ничего не боятся, да ведь мы вот-вот сможем уже достать их огнем. Держу на прицеле ведущего первой пары. Давай-давай, ну, еще немного, сейчас мы тебя!.. Скашиваю глаза влево; стрелок на соседней машине спокойно откинулся к задней стенке кабины. Ослепли, что ли? Ведь мгновения решают, отбивать надо атаку!

Пара «фоккеров» подходит. И конечно, они тоже уже прицелились, тот первый, кажется, прямо в меня уперся трассой, что должна сейчас грянуть. Вряд ли промажет... Стрелять, стрелять надо самому, опередить! Нет — другие воздушные стрелки молчат, хоть бы кто раньше открыл огонь. А то скажут: это тебе не газета, попал в нашу шкуру, струсил, боишься подпустить до верного... Как унижительно ожидание рокового удара! Охватывает тошнотворное чувство ватной слабости. Да что ж это — не видят ребята, как «фоккеры» нахально лезут, метров четыреста осталось, меньше даже...

Выдержать больше не могу: сейчас срубят. Хватаю ракетницу — смотрите, слепцы! Оставляя распалющийся красный хвост, сигнальная ракета летит навстречу врагу — смотрите же!

Истребители отворачивают вправо и выше, подставляя «брюхо», и на плоскостях ближнего самолета я вижу... красные звезды. Что такое? Да это, пожалуй, и не «фоккеры», мать честная. Спереди такие же тупоносые, но теперь, когда показались в профиль, вроде бы Ла-5. Только почему они здесь? У нас в дивизии — «Яки», с ними всегда ходим...

Сразу бросило в жар: промашка, ах, какая промашка; что, если бы начал стрелять?!

— Командир, ошибся я, это наши сзади, наши, «Лавочкины» подошли. Откуда только они взялись?

— Ну отмочил! Да ведь это как раз прикрытие Армейцы. Перелетают куда-то и сели в Паланге. Их и поднарядили нас сопровождать. «Яки» пошли с другими группами.

Помолчал — и с обидным смешком:

— Держись да не помирай прежде, чем смерть пришла...

Легко, остер на язык Благодаров. И не только на язык.

В том полете наша группа должна была атаковать транспорты, которые, по данным разведки, эвакуировали через залив Фрише-Хафф прижатые к нему вражеские войска юго-западнее Кенигсберга. Сколько мы ни утюжили заданный район — их не было, этих транспортов. Капитан повел группу вдоль узкой, покрытой буреломом и завалами косы Фрише-Нерунг; с одной стороны — голая, спокойная гладь залива, с другой — пустынное море вяло полощет песок прибрежных дюн. Так и возвращаться ни с чем?

Почти на исходе маршрута заметили паром, боком приткнувшийся к небольшому причалу.

— Будем атаковать, — приказал Благодаров. — Сфотографирую я сам.

Один за другим оседали пенные султаны взрывов, закрывая и паром, и берег возле него. Все было кончено сразу: из обломков причала в воде торчали только широкий нос судна. «Илы» выходили после атаки к морю, а командир повернул самолет на новый заход с малой высоты. Застучали, отдаваясь дрожью в теле машины, наши пушки. Для чего это — вроде бы там уже нечего добивать? Подо мной снова промелькнул задранный почти вертикально нос парома...

Догнав группу, Благодаров взял курс к аэродрому: горючего, судя по времени полета, у всех оставалось в обрез.

— Значит, так, — передал он ведомым, — будем считать, что накрыли мы у косы транспорт, тысячи на три тонн. Прослушали внимательно, все поняли, повторять не надо?

...Когда мы вернулись и, зарулив машину в капонир, пошли к командному пункту, я спросил, пытаюсь шуткой прикрыть прямоту вопроса:

— Перекрестить, стало быть, решил порося в карася?

Гвардии капитан ответил туманно:

— Как считать, где добро и где зло. Читал, помню, что Суворов, потрепав изрядно турок, поучал своего генерала, который усомнился в их потерях: «Это же басурмане, чего их жалеть».

— Но тогда не было фотографии и подтверждений не требовали.

Благодаров лишь загадочно усмехнулся.

Проявили пленку той самой съемки, которую вел на



последнем заходе командир, и, к моему удивлению, специалисты штаба подтвердили: да, потоплен транспорт. Мало того — его водоизмещение признали на полторы тысячи тонн больше, чем первоначально доложил комэск. По всему было видно, что Благодарову очень понравился этот вывод: он стал допытываться, как по одному носу судна можно такое определить и насколько точен бывает результат, а потом спросил, словно ради того и затеял разговор:

— Значит, и премию нам выплатят по уточненным съемкой данным?<sup>1</sup>

Получив утвердительный ответ, командир эскадрильи обратился к замполиту полка и начальнику штаба, которые были при его докладе:

— Все это липа, можно сказать, шутка, уж не взыщите. Транспорт — наша легенда, не нашли мы транспортов, а потопили понтон.

— Бросьте свои шуточки, гвардии капитан, — отрезал начальник штаба, в голосе его зазвучала медь. — Здесь вам не место для легенд-розыгрышей. Совсем распустились.

— Постой, дай человеку объяснить, — гвардии подполковник Ныч, видимо, заинтересовался неожиданным поворотом разговора. — Так о чем это ты, Благодаров?

Комэск доложил про полет заново — все, как оно было на самом деле. И добавил, что сначала хотел только проверить свое искусство аэрофотографа, а потом, убедившись, что разрывы снарядов из пушек хорошо прикрыли нос понтона, решил: не худо бы, раз случай позволяет, посмотреть еще, как оценят все это в полку.

— За боевую дезинформацию, эти свои штучки-дрючки, вы ответите, — вскипел начштаба. — Ишь, нашелся экзаменатор. Накажем, чтоб другим неповадно было, даром что Герой!

— Этот театр, конечно, похвалы не заслуживает, но и вы погодите горячиться, — рассудительно заговорил Ныч. — Ведь он-то, Благодаров, все сам рассказал, о деле, значит, пекся, а не просто ребусы нам подбрасывал. Тут, если с другой стороны подойти, серьезный вопрос намечается: нет ли, понимаешь, брехни в иных наших рапортах,

---

<sup>1</sup> В ту пору экипажам уже выдавали премиальные за потопленные вражеские корабли в соответствии с их водоизмещением и классом.

хоть они и с фотографиями. Весь уж гитлеровский флот на бумаге скоро потопим, а он все действует. Может, кто и премию себе так выжимает...

А мне вспомнился комсомольский боевой счет в 47-м полку — тот самый, в бытность мою комсоргом, и советы Ивана Васильевича — не сбиться на погоню за славой, ничем ложным свою честь не пятнать. Да, к месту был совет, подумать надо над темой для газеты. Пора, наверное, уже не только боевые, но и нравственные проблемы затрагивать — столько перемен в условиях нашей жизни. За всю войну вспоминали о деньгах, пожалуй, если только аттестат домой выписывали или в тыловую поездку собирались, — для чего еще они нужны были? А теперь совсем другое: фронт рядом, но противник стал не тот, сила его надломилась, забыли даже, когда он Палангу бомбил, — свободнее жизнь пошла, факт. Вот и военторг коммерческую торговлю открыл, для того, кто при деньгах, есть что выпить и закусить. Суета сует, но тут и вправду иной премию специально искать будет...

Дотянуться до аэродромов дивизии теперь у врага были руки коротки: на Курляндском плацдарме оставалась лишь их истребительная авиация — действовала она главным образом на защите с воздуха Либавской военно-морской базы и порта. И все же как раз в те дни сбили под самой Палангой «фоккера»-разведчика. Летчика краснофлотцы охраны сразу же задержали, впрочем, он и не пытался скрыться. Мне довелось оказаться поблизости — поспешил к ним. Выглядел этот юнец карикатурно: круглые немигающие — от страха, что ли, — глаза, казалось, остановились, а голова на тонкой шее, выползавшей из широкого воротника мундира под летным комбинезоном, как-то странно тряслась.

— Аллес капут!.. Аллес капут!.. — бессмысленно повторял он, словно заведенный оловянный солдатик.

По контрасту встала в памяти первая неделя войны, когда мы ехали навстречу ей из школы в полк, — сбитый возле Беззаботного «хейнкель» и с боем захваченный летчик с него, нагло и самоуверенно твердивший: «Руссиш капут, сдавайс мне...»

Да, все-все изменилось!

Впрочем, под Кенигсбергом гитлеровцы, как и раньше, продолжали отчаянно сопротивляться. Было известно, что все там приготовлено к боям в условиях длительной изоляции: не только насыщенная оборона — форты и другие сооружения, образующие в крепости три позиции, но и

подземные заводы, арсеналы, склады. Эту глубокую оборону предстояло взломать, в том числе и с помощью флотских летчиков, хотя теперь уже определенно было обозначено, что главное для нас — изолировать вражеские войска с моря.

В первые дни апреля, когда начала разворачиваться Кенигсбергская операция, погода, однако, снова ухудшилась, и авиация не могла действовать. Тем не менее 6-го войска после артподготовки пошли на штурм. Поддержка с воздуха, сообщили нам, очень нужна, но над аэродромом и всей приморской полосой низко клубились облака, по временам сеявшие мелкий дождь. И только на следующее утро, когда немного распогодилось, штурмовики смогли вылететь для ударов по наземным и морским целям.

В тот день я собирал материал для газеты в гвардейском полку. Две его эскадрильи получили задание бомбить укрепления врага в западной и юго-западной частях Кенигсберга, а одна — нанести удар по его аванпорту — Пиллау, военно-морской базе в крайней точке Земландского полуострова, вытянутого длинным хвостом на юг. После того как наши летчики вывели из строя гидротехнические сооружения морского канала, транспорты уже не могли проходить к гавани Кенигсберга, и все перевозки противник вынужден был направлять через Пиллау по суше. Зенитное прикрытие базы было не слабее либавского, тем более что здесь, по данным разведки, собралось немало и боевых кораблей. Поэтому на предполетном инструктаже командир полка уделил особое внимание подавлению зенитного огня.

— Бить сразу всеми силами, чтобы фашисты не успели очухаться. Второй заход, вероятно, вообще не удастся сделать. Ясно? — Он положил указку, которой водил по карте, объясняя маршрут выхода к цели. — Ну а фотографировать поручим гвардии лейтенанту Ловенкову. Желаю успеха!

Николая Ловенкова в полку считали удачливым. Молодой летчик быстро завоевал признание, и, думаю, тут прежде всего сказалась выдержка, с которой он фотографировал результаты штурмовок. При налетах на базу это вдвойне опасно: по одиночному самолету, заходящему последним, стреляют отовсюду. Однако гвардии лейтенант умел, маневрируя и прикрываясь бортовым огнем, с эволюциями пробиваться к цели, а уж потом, несмотря ни на что, твердо держать машину на курсе, пока не закончит

съемку и не сбросит бомбы. Может, как говорили, у него был «глаз-ватерпас» и прорезался на фронте талант фотографа, а возможно, смелость и спокойный характер играли тут главную роль, но снимки у него надежно получались и выходили превосходно, «художественно» по отзывам штаба.

...На аэродроме ждали возвращения экипажей, ушедших в бой. Ожидание — это всегда тревога. Что там сейчас, все ли целы, сумели ли после непогоды «отчитаться» за два дня сразу перед войсками, штурмующими Кенигсберг? Первыми сели эскадрильи, которые вылетали для непосредственной поддержки пехоты. Заправились и снова пошли в район западнее города, где, ломая сопротивление врага, наши части уже вот-вот должны были перерезать узкий коридор, еще соединявший кенигсбергский гарнизон с Земландским полуостровом. Вскоре показалась и последняя группа: «Илы» один за другим заходили на посадку, устало елозили по сырому летному полю. Когда они подруливали, бросались в глаза рваные пробоины в плоскостях, обрывки перкаля на рулях. Двух самолетов мы не досчитались.

— Сильный огонь над Пиллау, — докладывали летчики. — После атаки видели: подожгли транспорт и потопили БДБ. Но фотографий нет — самолет Ловенкова сбит на выходе из атаки.

— Что с экипажем?

— Оба потерянных самолета упали в море.

Суровы в своей однозначности эти слова: «упали в море». Тем более если упали там, над целью, в районе вражеского порта. Тут ни убавить, ни прибавить — спрашивать не о чём. И невольно начинаешь думать в прошедшем времени: Николай был прекрасным летчиком, верным товарищем, другом и помощником нашей газеты — вот и сегодня мы договорились после полета подготовить его статью «Из опыта фотографирования групповой атаки»...

Самое удивительное, что статья все-таки была написана, только позже: через неделю Ловенков вернулся. Что же с ним произошло? Об этом рассказал он сам.

...Замыкая группу, гвардии лейтенант последним вывел свой «Ил» на боевой курс, подошел поближе к атакованным кораблям, открыл огонь и включил фотоаппарат. «Хорошие будут снимки, — отметил про себя. — Все, что надо, точно легло в кадры: и транспорт, и БДБ». Теперь оставалось сбросить бомбы, и он, продолжая пикировать, направил машину на стоявшую чуть в стороне еще одну

быстроходную десантную баржу. Разворачиваясь, увидел пламя в задней части корабля, его корма опускалась в воду. На поднявшемся, нелепо обнаженном носу собрались солдаты, по ним вел огонь из своего пулемета стрелок Грушкин.

В следующее мгновение самолет резко трянуло, мотор зачихал, скорость резко упала, словно они наткнулись на что-то. Прямое попадание. «Не дотянуть до берега, хотя бы отойти подальше от кораблей», — промелькнуло в сознании. Мотор обрезал, в кабину выбивало горящие языки. Штурмовик был уже над самой водой. Огромным усилием, задыхаясь в едком дыму и терпя жестокую боль — тлели перчатки и китель, — Ловенков заставил машину выровняться и пролететь еще какую-нибудь сотню метров. Через минуту летчик и стрелок оказались в волнах.

Вынырнув, разобрались, что ветер — к берегу, вражескому, нежеланному. А силы были на исходе. С огромным трудом лейтенант надул лодку, она зачерпнула воду, но держала обоих. И тут возникла новая опасность: гитлеровцы заметили их, открыли минометный огонь, взрывы поднимали фонтаны то справа, то слева. Грушкин вычерпывал воду, а Ловенков греб онемевшими руками, стараясь лавировать и отойти подальше. Более часа продолжалась под обстрелом эта борьба с беспокойным морем, борьба со смертью. Потом показалась ныряющая в волнах шлюпка — это шли, чтобы их спасти, пехотинцы из передовой части, далеко продвинувшейся на юг.

Ловенков, измученный и обожженный, еще нашел в себе силы попросить: «Заберите сначала стрелка»...

Наша дивизионка напечатала заметку «Боевое братство»: летчики поддержали пехоту, помогли ей продвигнуться, а пехотинцы сумели помочь сбитому экипажу и, рискуя жизнью, спасли летчиков.

Конечно, рассказывал Ловенков все это через неделю, а тогда, при известии о его гибели, я понял, что тоже обязательно должен слетать на Пиллау. Раз становится он новой узловой, трудной и опасной целью для штурмовиков дивизии, отставать тут газете никак не гоже.

Такая возможность представилась через день — 9 апреля в эскадрилье капитана Юсупа Акаева из бывшего моего 47-го полка. Летчики этого полка отличились в Пиллау еще накануне: пустили на дно два транспорта и тральщик. Теперь, когда вражеские войска в Кенигсберге оказались в «мешке», особенно важно было наглухо закрыть морские ворота этой прусской твердыни. Так гово-

рил командир, разъясняя летному составу задачу дня:

— Все эскадрильи задействованы сегодня на Пиллау, чтобы не позволить противнику вывозить солдат. Никто не должен уйти из-под Кенигсберга!

...Лечу воздушным стрелком с лейтенантом Владимиром Талдыкиным. Мы с ним очень сдружились в последние месяцы. Одаренный человек, он, хотя и успел в жизни окончить лишь школу да училище, многое знал, умел, мог. И литературным вкусом, безусловно, обладал: приходя вечерами по-соседски из курзала в «дивизионку», а это часто бывало, любил вышучивать наше пристрастие к ложной патетике. Как-то и его назвали в газете среди «воздушных богатырей». «Расступись, народ, — богатырь идет!» — объявил Владимир с порога, заявившись после боевых полетов. Сам довольно щуплый, невысокий, с тонким лицом, на котором теплилась какая-то женская доброта, он артистически сжался, играя «маленького человечка», да так, что грянул общий хохот и печатник, работавший на нашей «американке», даже остановил машину.

Воевал Талдыкин достойно — комплекция тут, понятно, ни при чем. Он прибыл в дивизию только на Балтике, однако к весне уже имел на своем боевом счету более пятидесяти штурмовок, три лично потопленных корабля. Особенно высветил он свой бесстрашный характер, когда в одном из труднейших полетов прикрыл Юсупа Акаева, подставив собственный самолет под огонь «эрликонов», трассы которых уже доставали машину командира. Снаряды пробили мотор, горячее масло выбилось в кабину, залило глаза лейтенанту, но и почти не видя, будучи оглушенным, он сумел перетянуть через линию фронта, совершить на подбитом штурмовике посадку в расположении наших войск.

Тогда, помнится, с родины Акаева — из Дагестана пришло на имя Талдыкина много писем-благодарностей, официальных и личных, за его подвиг — спасение жизни их земляка. А сам Владимир, когда об этом заходила речь, переводил разговор на другое:

— Зачем громкие слова? Все мы берем за образец своего комэска. Знаете, как Акаев спас от верной гибели летчика Николаева и раненого воздушного стрелка Осокина, когда тем на подбитой машине пришлось сесть прямо в расположении противника? Приказал группе отсечь огнем спешивших к самолету гитлеровцев и приземлился рядом прямо на дороге. Обоих вывез! Вот это действительно был подвиг, так я считаю!

...«Илы» плывут над морем, ласково залитым весенним солнцем. Пригревает в открытый кабине, настраивая на спокойный, благодухный лад. И даже кажется, что в полете нас сопровождает аромат свежей зелени, который так остро затопил в последние дни Палангу, приглушив на аэродромах привычные запахи металла, бензина, нагретого масла. Обновление природы, набирающая силы весна пробуждают забытые инстинкты: жизнь прекрасна, она полна молодой удачливости, легкости, свежести. Только сейчас эти мирные ощущения совсем не ко времени. Правда, разговаривая между собой, мы все чаще произносим: «Вот кончится война...» Но рано, рано заглядывать т у д а, размагничиваться!

Перелетаем узкую косу, навстречу вспухают первые зенитные разрывы. А над портом эти отдельные разрывы превращаются в пульсирующую огнем завесу; так робкий зачин грозы сразу переходит в ливневый поток. Становится нечем дышать, словно воздух уходит в тугие горячие вспышки. Каждая штурмовая атака особенна, чем-либо непохожа на другие, но этот момент преодоления первой роковой черты всегда заставляет испытывать пронзительное чувство близкой беды, какой-то толчок в заолодевшее сердце: вот сейчас... Прорвались, похоже, благополучно! И хотя огонь по самолетам, выходящим на боевой курс, продолжается, этот невольнo заползший страх исчезает. Пора заниматься делом, все остальное отступает.

Наша шестерка бьет по двум БДБ, попутно прочесывая из пушек и пулеметов десантные боты, приткнувшиеся веером к берегу. Вижу, что удар ведущего — капитана Акаева пришелся точно: на барже поднялся, разрастаясь, столб густого дыма. А вот и наши бомбы — пунктиром взрывов пересекают курс другой БДБ, ускользавшей на рейд. Тоже одно прямое попадание! Впрочем, не так уж важно, кто попал, главное — задание выполнено, и все вроде целы, хотя снова везем домой много пробоин, по крайней мере, если судить по нашему самолету: крыло слева от меня похоже ближе к консоли на решето.

От цели идем на малой высоте. Внизу земля хранит приметы недавнего сражения: разворочена бомбами, перепажана снарядами, изрезана паутиной окопов, пришпилена — словно забиты по шляпку огромные гвозди — разбитыми колпаками дотов. Лежат на боку тяжелые орудия, чернеют остовы танков, а вот сожженные самолеты, их больше десятка — здесь был немецкий аэродром...

Впереди вырастает пелена чадного дыма, местами в нем

сквозят зарницы пожаров. Это уже Кенигсберг — колыбель надменного прусского духа, один из главных гитлеровских форпостов, откуда пришла к нам война. Вспомнилось, как в первые ее дни несколько бомбардировщиков нашего 1-го минно-торпедного полка вылетали из Беззаботного на Кенигсберг, такой далекий тогда, чтобы донести до самого рейха хотя бы малую частицу возмездия. Долго он был нам недоступен, Кенигсберг, и все же возмездие пришло!

— Посмотри, слева Альтштадт, — говорит по внутренней связи Владимир.

Альтштадт — это центральная часть города с характерными силуэтами ратуши и королевского замка. Обрушившиеся стены, какие-то хаотические развалины, чернотурные пожарища, покрытые, будто кровяными пятнами, кирпичной пылью. И даже на высоте, вокруг нас, все пропитано гарью.

Отвечая Талдыкину, повторяю вслух, не боясь патетики, это слово:

— Возмездие...

— А ты погляди, еще наши идут!

Действительно, стороной и выше — две больших группы «Илов». Похоже, морские, а может, и армейские, издавка не разглядеть. Заходят на цитадель, где продолжается бой...

До завершения штурма города тогда оставалось всего несколько часов. К вечеру гитлеровский гарнизон капитулировал, и комендант города генерал Лаш, сдаваясь в своем подземном бункере, признал: «Обстановка в Кенигсберге была безнадежной». Эта безнадежность для врага, наверное, происходила и от того, что оказались перерубленными с воздуха морские коммуникации «непреступной прусской твердыни». Во всяком случае, именно так писал в нашей газете Владимир Талдыкин.

После короткой передышки в середине апреля начались бои за Пиллау. Снова, день за днем, летали туда эскадрильи штурмовых полков. Правда, оставалось еще и другое поле боевых действий — на морских подходах к Либаве, но гитлеровскому командованию было уже не до забот о своих войсках, отрезанных в Курляндии, и здесь появлялись лишь единичные суда. Другое дело — под Пиллау; к нему теперь пролегали основные маршруты, и наша дивизионная газета призывала со своих страничек: «Не выпустим из порта Н. ни одного вражеского корабля!» Хотя это самое Н., обусловленное жесткими требованиями



военной цензуры, в полной мере могло относиться к любому порту, все понимали, о чем идет речь. Надо закрыть Пиллау, через который противник пытался эвакуировать оставшиеся войска.

Снова по два, а иной раз и по три вылета приходилось на день. Каждый из них по-прежнему таил в себе неизвестность, и всякий раз, провожая очередную группу, на аэродроме с надеждой, выстраданной потерями, напутствовали летчиков: «Сколько вам вылетов, столько и посадок!» Да редко так бывало — кто-то не возвращался, подчас исчезая в этой неизвестности: над морем смерть легко прятала улики...

25 апреля наши войска взяли Пиллау, последний узел сопротивления врага на Земландском полуострове. В приказе Верховного Главнокомандующего, посвященном этой победе, вновь, как и при освобождении Клайпеды и взятии Кенигсберга, среди других было отмечено соединение Д. И. Манжосова — наша, стало быть, 11-я Новороссийская штурмовая авиадивизия.

В один из последних дней апреля в редакционном доме сошлись несколько летчиков.

— Эх, и дорого достался нам этот Пиллау, — вздохнул один из них. — Какие ребята костями легли!

— А Либава что, разве меньше унесла? Степанян, Пысин, Удальцов. Это только Герои. А молодых сколько там осталось... Да что говорить — кого она еще возьмет, Либава, вот вопрос.

— ...Слух прошел: Гитлера поймали — точно или брешут?

Это пришел новый гость. В редакции радиоприемник старенький, и слышимость неважная, однако другого поблизости нет, и сюда теперь заглядывают многие из общезжития летчиков в курзале, чтобы узнать последние новости. Все полны ожидания: сводки уже сообщают о боях в Берлине, а это, как мы привыкли считать, — конец войне. Но вот, подумать только, до сих пор у нас под боком держится Курляндская группировка противника. И потому берет верх чувство осторожного беспокойства: что ж, и после Берлина война может продлиться?

— Тебя ждут Гитлера поймать, — отвечают вошедшему. — Торопись не опоздать, пока ждут...

Шутливый тон, однако, не нашел поддержки. Разговор вернулся в прежнее русло. Как видно, жила подспудно в глубине души у каждого, тревожила мысль — ясная или не очень, — что вот совсем немного остается до конца

войны, хорошо бы дойти. И завязался вдруг тихий спор, вырвалось неожиданно наружу: страшнее ли погибнуть теперь, напоследок, чем было тем, кто пал в первую военную пору?

— Кто тогда жизнь положил, им самое тяжкое выпало,— говорил один.— Наша земля кругом горела, наша. И что дальше станет, как оно пойдет, только вера в будущее сказать могла. А ее, веру-то, чем крепить было?

— Это так, слов нет. Только и о другом подумать стоит. В победу нашу и тогда верили, факт. Иначе бы сейчас не были в Берлине. Верили и понимали, каких жертв это стоит. А потому — без страха и сомненья: «Жизнь за Родину!..» Теперь возьми того, кого последний взрыв или пуля достанет, будет же кто-то последним убит на войне. Может он разве считать, погибая, что без его смерти нет победы?..

— Конечно, может! Только так и надо считать,— с внутренней горячностью вмешался Владимир Талдыкин.— Лишь последняя капля наполняет чашу, и без последней капли крови война не кончится.— Он замолк, словно удивляясь сказанному, потом весело тряхнул головой: — Ну чего мы развели эту философию?! Пойдемте-ка лучше на воздух, сирень цветет — прямо голова кружится...

Скорее всего, забылись бы подробности этого разговора, если бы не дальнейшие события.

6 мая был день рождения Талдыкина, как раз к этому дню получил он второй орден Красного Знамени. Но отпраздновать, даже просто мало-мальски отметить все это мы не смогли: под Либавой опять началась боевая страда. Враг предпринял попытки вывезти хотя бы часть войск из Курляндии, стараясь за ночь оторваться подальше от наших берегов,— снова надо было им противопоставить интенсивные удары по порту, упорный поиск вражеских кораблей в море с рассвета и дотемна.

8 мая капитан Акаев повел восьмерку штурмовиков своей эскадрильи для атаки немецких боевых кораблей и транспортов в районе Либавы. На выходе из пикирования самолет с хвостовым номером «27» — на нем летели Талдыкин с воздушным стрелком Пинаевым — был поражен прямым попаданием зенитного снаряда. Раненый в голову, одной рукой — вторая повисла безжизненной плетью — Владимир стал тянуть подбитую машину к аэродрому. Красный туман плыл перед глазами, жизнь оставляла его, истекавшего кровью. Но он заставлял себя продержаться — еще немного, еще, еще... И поврежденный «Ил», грузно рыская, неровными галсами шел над

водой дальше. И вот берег уже почти под крыльями, можно планировать на посадку. Однако в этот последний момент раненый летчик окончательно потерял сознание...

К ночи мы разыскали, где упал самолет, — на сей раз морю не удалось сомкнуть над ним волны. Взяла верх железная воля Владимира, нашего Вовы, как его звали близкие. Он сделал до конца все, что мог, и, глядя на его посеревшее лицо, исполненное в смерти особой, строгой чистоты, я понял, что в нем была большая, зрелая внутренняя сила, привлекавшая меня и других, не всегда находивших, наверное, ее в себе. Сила, которая делала его таким прямым, открытым и верным в дружбе и самозабвенным в боевых полетах, таким заботливым о своей семье — молодой жене и маленьком сыне. Сила, пробудившая в нем понимание: для победы понадобится и последняя капля крови — ясное, безо всякой рисовки понимание, выражавшее суровую готовность отдать, если придется, и свою кровь. Не верю в голос предчувствия, это просто совпадение, что так оно и случилось.



9 МАЯ 1945-го

**К**огда мы вернулись ночью после поисков самолета Талдыкина, тот спор в редакции не выходил из головы. За всю войну не приходилось слышать пустых разговоров о возможной гибели. Так же, впрочем, не поминалось все и слово «победа». Может быть, в том, что последние дни поставили их рядом, есть своя логика? Да, пожалуй, уже неизбежно думаешь про себя о близости новой, мирной жизни. Боевые годы приучили нас с горьким мужеством переносить потери, они ранили, не не размягчали души. Теперь уже не то: нелепа, противоестественна каждая гибель на пороге победы... Мысли эти гнали сон прочь, и только под утро удалось забыться. Показалось — всего на минутку, потому что, едва рассвет взял свое, всех в нашем домике поднял на ноги громкий стук:

— Эй, вставайте, война кончилась! Быстрее — митинг у курзала!

Ждали, ждали, и вот, на тебе, проспали.

Выскочив наружу, услышали беспорядочную стрельбу; со стороны ближнего аэродрома доносилась пальба из бортовых пушек штурмовиков. Что это? Не сразу, но сообразил: значит, и туда, в полки, дошла уже весть — салютуют победе.

Неужели все кончилось и начинается новый отсчет времени? Сколько всего было с того первого дня, когда мы прочесывали лес под Ораниенбаумом, разыскивая гитлеровских парашютистов! А я жив, жив! Это жаркая, какая-то бесшабашная, всепоглощающая радость. На бегу вытаскиваю наган и разряжаю в воздух весь барабан. Рядом и впереди тоже стреляют, кричат...

Зеленая лужайка у курзала уже заполнена. На всех лицах — одно выражение: не просто радости, а счастья, искрящегося в глазах, общего, небывалого. Сгрудились, пропустив вперед летчиков, по эскадрильям перед трибуной, обтянутой кумачом, — когда только ее успели подготовить? Начальник политотдела, однако, почему-то становится впереди трибуны, на этом красном фоне особенно заметно, что ростом и комплекцией он не обижен. Взмахивая рукой, точно обрубая каждую фразу, полковник открывает митинг:

— Товарищи, дорогие мои! Свершилось! Гитлеровская Германия разгромлена и капитулировала. Война, тяжелейшая в истории нашей Родины Великая Отечественная война, закончилась. С победой, дорогие товарищи!..

К трибуне быстро протиснулся офицер оперативного отдела штадива и, пока гремело, переливаясь над лужайкой «Ур-ра!», что-то отрешенно говорил склонившемуся к нему полковнику.

— А теперь, товарищи, — продолжал после паузы начальник политотдела заметно изменившимся тоном, в котором слышалась уже не сияющая торжественность, а деловая озабоченность, — теперь летный и кто есть из технического состава должны срочно выехать на свои аэродромы. Объявлена боевая готовность номер один, отправляться всем немедленно!..

Под покровом ночной темноты Либаву покинул целый караван судов во главе с военными кораблями — недобитые фашисты в Курляндском котле сконцентрировали все плавсредства, что можно было собрать. Рано утром наша воздушная разведка засекала этот караван. Сеть белых бурунов на темном бархате моря обозначала путь в сторону Швеции. Стало быть, хотят удрать, несмотря на безоговорочную капитуляцию. И еще не поздно их настичь. Эскад-

рильи наших штурмовых полков снова вылетели в бой.

Шел первый день мира, он же был для нас 1419-м днем войны. Все его первые светлые часы, пока позволяла дальность полета «Илов», летчики наносили удар за ударом по этим судам. Несмотря на отчаянный огонь корабельных зениток, многие из них удалось потопить, но и мы потеряли еще два экипажа — потеряли уже после победы.

Даже в час такого торжества смешались вместе радость и горе.

Возвращаясь с аэродрома в Палангу по центральной улице городка, от которой разбегаются прямые улочки к морю, увидели: рядом с перекрестком напротив кирхи, высоко поднявшей свою остроконечную башню, краснофлотцы рыли могилу для похорон Владимира Талдыкина...

Мне, однако, не выпало вместе со всеми отдать последние почести другу. За несколько дней до того в дивизию прибыл новый редактор газеты, принял у меня дела, и я должен был отправиться попутной машиной в Таллин — срочно вызывали в политотдел ВВС флота за назначением.

...И вот снова дорога. Позади лежала война — долгая, как целая жизнь. От того, что я ехал, оставив за собой и Палангу, и ставшую родной дивизию, и боевых товарищей, особенно ясно обозначилась грань, разделившая ее, эту военную жизнь, с новой — долгожданной и неизвестной. Грань, которая поневоле настраивала на размышления; о чем не думал, наплывало само.

На войне никому не дано выбирать свой путь — каждый делает, что поручено и приказано. И если это можно назвать судьбой, то правильно сказать, что жребий мне достался относительно легкий, хотя война и бросала в разные передраги. Так думалось с неясным тогда чувством вины, которая тревожила сердце, — вины перед погибшими...

Запомнилось все отчетливо, прочно, потому что с годами это чувство не стиралось, а наоборот — усиливалось и усиливается. О нем не скажешь лучше, чем написал поэт-солдат:

Я знаю, никакой моей вины  
В том, что другие не пришли с войны,  
В том, что они — кто старше, кто моложе —  
Остались там, и не о том же речь,  
Что я их мог, но не сумел сберечь, —  
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Вот почему, пусть и с таким опозданием, легла на бумагу эта память о войне: «День первый — день последний».

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ . . . . .	3
22 ИЮНЯ 1941-ГО . . . . .	5
ТРУДНЫЕ ДНИ В БЕЗЗАБОТНОМ . . . . .	14
ТОТ ДОЛГИЙ-ДОЛГИЙ АВГУСТ . . . . .	29
ОТ БАЛТИКИ ДО ЧЕРНОМОРЬЯ . . . . .	49
И «МАЛЕНЬКИЕ» ВОЮЮТ... . . . .	63
ПРИЖАТЫЕ К МОРЮ . . . . .	82
В ПЕРВЫХ БОЕВЫХ ВЫЛЕТАХ . . . . .	99
ПРОЛОГ ЖАРКОЙ ОСЕНИ . . . . .	115
«ДАЕШЬ КРЫМ!» . . . . .	126
ДОРОГА К СЕВАСТОПОЛЮ . . . . .	144
ВЕТРЫ БАЛТИКИ . . . . .	166
ФРОНТ С СЕВЕРА, С ЮГА, С МОРЯ... . . . .	185
ВЕСНА ПОБЕДЫ НАШЕЙ . . . . .	203
9 МАЯ 1945-ГО . . . . .	219

Ц85 **Цукасов С. В.**  
День первый — день последний.— М.: Сов. Рос-  
сия, 1988.— 224 с.

События документальной повести разворачиваются на фоне боевых действий морской авиации Балтийского и Черноморского флотов. Воинский путь автора — курсанта, механика-вооруженца, комсорга авиаполка, журналиста дивизионной газеты, прошедшего через окружение и отступление, освободительные бои за Новороссийск и Крым, Таллин и Клайпеду, за взятие Кенигсберга и разгром Курляндской группировки гитлеровцев,— позволяет представить читателю судьбы многих людей в различных фронтовых обстоятельствах, дополнить живыми деталями картину войны, обогатить некоторые страницы ее летописи новым материалом.

Ц 0505030202—134 11—88  
М-105(03)88

9(с)27

ISBN5—268—00508—1



**Сергей Витальевич Цукасов**

**ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ**

Редактор Т. И. КИРЕЕВА

Художественный редактор А. С. КУЛЕМИН

Технический редактор Г. П. МАРТЬЯНОВА

Корректоры Н. М. АРСЕНИНА, Е. С. КУШТАЕВА

ИБ № 7155

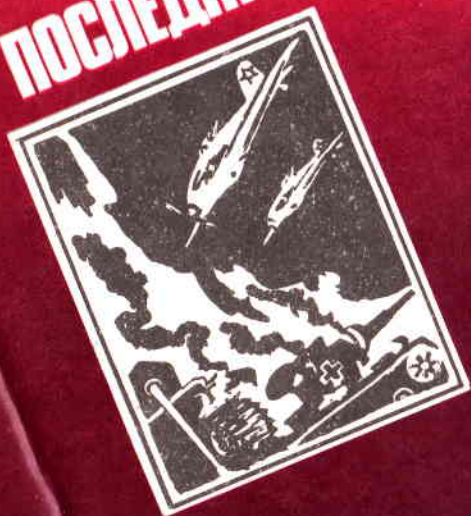
Сдано в набор 09.10.87. Подписано в печать 12.05.88. А 08607. Формат 84×108/32.  
Бумага типогр. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76.  
Усл. кр.-отт. 11,97. Уч.-изд. л. 11,51. Тираж 50 000 экз. Заказ 357. Цена 60 к.  
Изд. инд. ХД-164.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

60 коп.

**ДЕНЬ  
ПЕРВЫЙ-  
ДЕНЬ  
ПОСЛЕДНИЙ**



СОВЕТСКАЯ РОССИЯ